

Лордкипанидзе Л.Н.

Тайна длинною в жизнь

или

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ПАМЯТИ



Лордкипанидзе Л. Н.

**Тайна длиною в жизнь, или
Лоскутное одеяло памяти**

«Издательские решения»

Лордкипанидзе Л. Н.

Тайна длиною в жизнь, или Лоскутное одеяло памяти /
Лордкипанидзе Л. Н. — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-937778-4

Книгу воспоминаний о прожитой жизни можно назвать размышлениями о себе, о родителях и детях, о любви и разочарованиях; можно — исповедью. Написанная для близких книга пробуждает воспоминания, заставляет смеяться и плакать. Особенно подкупает искренность автора и безусловно радостное восприятие жизни. Автор книги — счастливая женщина, которая стремится жить с удовольствием, без сожаления вспоминает о прошлом и с надеждой мечтает о будущем.

ISBN 978-5-44-937778-4

© Лордкипанидзе Л. Н.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Моё имя	8
Мои корни или национальный вопрос в семейном интерьере	20
Моя Грузия	21
Моё еврейство	41
То, чем я теперь живу	55
Мой любимый папа	65
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Тайна длиною в жизнь, или Лоскутное одеяло памяти

Лордкипанидзе Л. Н.

© Лордкипанидзе Л. Н., 2018

ISBN 978-5-4493-7778-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

*«Лучше оставить сыну
одну книгу, чем горшок золота»*

Китайская поговорка

Осознанное желание разобраться в себе, осмыслить свою жизнь, свои планы, свои стремления, записывая наблюдения и выводы, впервые возникло, когда, поступив в институт, я оказалась в большом незнакомом городе без родителей, без друзей и даже без знакомых, наедине с непредвиденными сложностями...

Я начала вести дневник и впервые решила написать книгу. Даже название для своего «сочинения» придумала: «Мемуары в 20 лет». Мне было 17, но «мемуары в двадцать лет», мне казалось, лучше звучит, во-первых; а во-вторых, я понимала, что для осуществления такого замысла потребуется время, и трёх лет, как представлялось мне в том наивно-глупом возрасте, было более, чем достаточно.

Желание, возникшее в юности, по многим причинам не только не реализовалось в предполагаемый срок, но и на долгие полвека забылось летаргическим сном. Разбудил его уход моих родителей. Со стыдом обнаружила, как мало знаю я о самых родных и дорогих людях, ещё меньше – о бабушках и дедушках... Стало так досадно, что в многолетней повседневной суете мне не хватило времени, а если честно, – интереса и настойчивости... А теперь – у кого спросить?

Подумала о своих сыновьях, внуках... Надеюсь, что и они со временем прочувствуют и осознают «память поколений», которая неожиданно, порой весьма коварно, проявляется в поступках, даже себе самому порой не объяснимых... Захотелось избавить их от гнетущих чувств, когда я уже не смогу ответить на их вопросы... Возможно, «бабушкины мемуары» сократят моим внукам их путь к себе, помогут лучше понять себя, управлять собой, а, значит, и своей жизнью. Но это лишь «пусковой» и далеко не единственный повод, побудивший взяться за многолетнюю работу.

Конечно же, претерпели изменения мотивы юности: теперь не столько о стремлениях и планах на будущее, сколько о прошлых успехах и упущениях; о тех, кто что-то значил для меня, кого помню, кого любила и люблю; о тех, кто рядом, и кого уже нет...

Зачем? Возможно, чтобы заново пережить, прочувствовать, понять, переосмыслить свою жизнь... Может, для того, чтобы повиниться и получить прощение... Не исключаю, что, в какой-то мере, это и попытка не кануть бесследно в Лету...

Но главное, думаю, в том, что я – графоман: я наслаждаюсь возможностью выразить в словах свои мысли и чувства; мне нравится подбирать и менять слова, абзацы, писать и переписывать в попытке найти оптимальный, на мой взгляд, вариант. Я испытываю настоящий восторг, если знаю, что впереди несколько часов, когда никто и ничто меня не отвлечёт, не потревожит, когда я смогу остаться наедине со своими воспоминаниями и компьютером. Сему чуду современной техники я безмерно благодарна – если бы мне пришлось писать ручкой на бумаге, зачёркивать, исправлять, писать заново, я бы не осилила книги, которые мне удалось издать.

Мечтаю, чтобы кто-то из внуков (а, может, правнуков) унаследовал сей способ получать удовольствие...

Одно из рабочих названий задуманной мною книги – «Лоскутное одеяло памяти» или «Мозаика памяти», потому что я не собираюсь соблюдать хронологию. Мне хочется, сохраняя некоторую логику повествования, рассказать обо всём в той последовательности, которую рождает моя память. А поскольку она у меня, в основном, ассоциативная, то получится, вероятнее всего, что-то, «сшитое из разных лоскутов». Хочу из этих, выхваченных из разных времён

и судеб «кусочков», сложить нечто цельное и по возможности красивое, как красивы любимые мною изделия в технике «пэчворк».

Работа над книгой длилась больше десяти лет, в течение которых кардинально изменились не только внешние условия моей жизни. Приоткрылась тайна, заставившая меня переоценить и переосмыслить многие события моей жизни, лучше понять себя, свои отношения с близкими...

Сей, почти детективный факт, побудил изменить название, которое, возможно, придаст некоторую остроту моему повествованию.

Размышляя, с чего начать свою летопись, решила, не мудрствуя лукаво, представиться. Итак,

Моё имя

Глава первая

*«Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом...
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...»*

А. С. Пушкин

Насколько важно и значимо для человека его имя, не им самим выбранное, как правило? Играет ли оно какую-нибудь роль в самоощущении и самовыражении? И если «да», то какую? Правда ли, что от имени, как уверяют некоторые фаталисты, зависит судьба человека – «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт»?

Ответов на эти вопросы множество, большинство из них противоречат друг другу, и у каждого, кто задумывался над этим, есть, вероятно, свой, наиболее для него убедительный. Я не считаю, что имя предопределяет личностные особенности или, тем более, судьбу человека. На мой взгляд, перефразируя известную поговорку, «не имя красит человека, а человек – имя». Хотя... Очевидно и бесспорно одно: имя – первое, с чем идентифицирует себя человек.

Моё имя мне всегда нравилось. С раннего детства я принимала как данность, что я – Людмила Николаевна. Эту историю, которую я, конечно же, знаю только со слов, рассказывала мамина младшая сестра – моя любимая тётя Фаня. Мне было около трёх лет, я ходила в ясли, потому что все взрослые работали. Рассказывают, я была не по возрасту серьёзной и рассудительной, рано и хорошо научилась говорить – домашние называли меня «старый нос».

В яслях работал детский врач, пожилой мужчина, который, учитывая мою «взрослость», называл меня не иначе как по имени и отчеству. Мама узнала об этом случайно при весьма смешных обстоятельствах.

Как-то, рассказывала тётя, мы втроём шли по улице, мужской голос сзади несколько раз окликнул: «Людмила Николаевна!». Я стала оглядываться и требовать, чтобы мы остановились. Легко представить изумление сестёр, когда нас догнал доктор и выяснилось, что обращение и в самом деле было адресовано мне.

Так случилось, что и в детском саду, и в школе меня называли не иначе как Людой или Людмилой. Возможное сокращение «Мила» настолько явно не вяжется со мной, что за всю мою жизнь никто ни разу не сделал подобной попытки. «Люсей» тоже никто меня не называл, а меня «Люся» раздражает, и я долго не понимала, почему. Единственное предположение возникло, когда вместе с сыновьями перечитывала Гайдара. Про Тимура и его команду я читала так давно, что, повзрослев, успела позабыть, что тамошнюю козу звали Люськой. Возможно, сработали вытесненные в подсознание детские ассоциации?..

Так случилось, что за 10 лет учёбы я поменяла 6 школ, но ни в одной из них у меня не было прозвищ...

Самое привычное для меня – моё имя-отчество, которым я звалась большую часть жизни, став в 23 года врачом. К 70 годам оказавшись в Германии, я испытывала первое время неловкость, называя при знакомстве только своё имя. Примиряет меня с этой ситуацией, что вместо принятого в России официального обращения «Людмила Николаевна», я слышу не менее приятное для себя «фрау Лордкипанидзе».

Моя фамилия не менее любима и значима для меня, чем имя. Во-первых, потому что это фамилия моего любимого папы. Во-вторых, я не лишена тщеславия, а у людей знающих, тем более, у грузин, она сама по себе вызывает интерес и уважение, поскольку принадлежит княжескому роду и имеет достаточное количество известных представителей. Я не стала менять свою грузинскую фамилию на русскую фамилию мужа, потому что не представляю себя с другим именем. Но я не жила в Грузии, и мне часто приходилось видеть и слышать, как мою фамилию искажают и коверкают. Самая малая и частая ошибка, когда при написании пропускают букву «д», которая, на мой взгляд, и придаёт фамилии особую звучность.

Между прочим, в нашей семье существует байка, которая возникла именно в связи с наличием этой буквы. Один из папиных предков был, якобы, очень богат, немало времени проводил в Париже, играл в Монте-Карло. Однажды, прибыв на светский прием, он назвал своё имя мажордому: «*Князь Трифон Лордкипанидзе*». Представляя нового гостя, тот с особым пафосом провозгласил: «*Князь, трижды фон, лорд Кипанидзе!*».

Кстати, в институте некоторые студенты и преподаватели, пока не видели мою фамилию написанной, считали, что я – Лора Кипанидзе. Некоторые из них упорно называли меня Лорой, утверждая, что это имя мне больше подходит, чем Людмила...

Как ни смешно, но на нашем курсе из 350 студентов оказался такой же грузин, как и я, – Георгий Капаназе. Что значит «такой же»? Сейчас объясню. Дело в том, что и моя, и его принадлежность к грузинам ограничивалась фамилией, восточным типом лица и, главное, размерами носа. В остальном же... Мы оба не знали грузинского языка, никогда не жили в Грузии. Мне, правда, повезло больше: его отец погиб во время войны (Гоги лет на 5 старше меня, он поступил в институт, имея за плечами трудовой стаж и три года службы в армии).

Мой папа, хоть и не учил меня языку, но был всегда рядом, каждый его летний отпуск мы проводили в Грузии, к нам приезжали гостить мои грузинские дяди и тётки, моя любимая бабушка Зина, мои двоюродные братья и сестры. А один из них, самый, пожалуй, колоритный – Бичико, часто подолгу жил у нас.

Так вот, Гоги остро переживал явную ущербность своей фамилии. Не раз сетовал: «*Ну, зачем тебе такая фамилия? Ты же девчонка, всё равно её потеряешь, когда замуж выйдешь; давай поменяемся! А ещё лучше – выходи за меня, а чтобы никому не было обидно, наша общая фамилия будет Лордкапаназе*».

Согласитесь, не звучит! Гоги напрасно беспокоился, замуж я вышла не за него, но фамилию свою сохранила.

Пожалуй, самое забавное, связанное с моей фамилией, случилось, когда я была на втором курсе. К этому времени сложилась компания, одним из членов которой был наш однокурсник-лоботряс Мишка Порфирьев, которого все мы называли не иначе как «Пафнутий» (вечная ему память, он рано ушёл из-за болезненного пристрастия, свойственного многим русским).

Своё прозвище Мишка приобрел по нескольким причинам. Пафнутий был не по возрасту вальяжный, медлительный, что в сочетании с его полновато-рыхлой фигурой резко выделяло

его среди единичных в поле зрения тощих, взбудораженных обилием девчонок «вьюношей» нашего курса.

Мишка, пожалуй, единственный на курсе, носил довольно густую бороду и такие же усы; из этих весьма неопрятных зарослей неизменно торчала трубка, которую он, если не курил, то посасывал. На разнообразные шутки по этому поводу Мишаня реагировал одинаково: разжимал толстые губы, обнажал крупные прокуренные жёлтые зубы и снисходительно изрекал: *«Поцелуй без усов, что роза без запаха»*. Скептикам советовал прочитать рассказ «Усы» Мопассана – в те годы непререкаемого для нас авторитета в любовных вопросах. Правда, из тех девчонок, которых я знала, никто не сгорал от желания убедиться в правоте классика с помощью Пафнутиевских кущей.

Одевался Пафнутий соответственно своему прозвищу: тёмный костюм-тройка (всегда такой измятый, будто он спал, не раздеваясь); серебряной змейкой от жилетной пуговицы в карман вползала массивная цепочка старинных часов, доставшихся Мишке по наследству. Нам нравилось спрашивать у Пафнутия, который час, за минуту до точного времени и наблюдать, как он, не спеша, предоставляя нам возможность в полной мере насладиться действием, достаёт часы, нажимает невидимую кнопку, как откидывается крышка с витиеватой монограммой и раздаётся красивый мелодичный бой... Второй карман жилета принадлежал трубке, которой удавалось отдохнуть в нём от Мишкиных зубов только, когда хозяин ел, и во время учебных занятий (где она ночевала, не знаю).

Представили себе этого оригинала? Если бы к нему не прилипло имя, созвучное фамилии, его непременно окрестили бы Ионычем.

Оригинальность Пафнутия не ограничивалась внешностью. Разве можно было сравнить его размеренное благополучно-сытое существование в большой профессорской квартире в центре Ленинграда с той шепотной безалаберной жизнью, которую вели мы, приехавшие издалека, снимавшие углы, (то есть, жившие в одной комнате с хозяйкой), либо занимающие койку в общежитии, – вечно голодные, вечно без денег, но зато вырвавшиеся из-под опеки родителей, свободные и оттого бездумно счастливые провинциалы?

Начать с того, что Мишка был единственным сыном немолодых учёных. Его мама – физик, доктор наук, преподавала в высшем Морском училище им. Макарова. У неё были патенты на научные открытия (я тогда впервые увидела, как они выглядят). Наталья Никифорова была настолько некрасива, насколько умна и добра. Мишка внешне был очень похож на неё: такой же крупный нос «картошкой», такая же толстая с крупными порами кожа, такие же глаза – небольшие, глубоко посаженные, с тяжёлыми припухшими веками. Только его мама была деловая, быстрая, энергичная, неугомонная, а он – медлительный, неповоротливый и ленивый.

Его папа – известный палеонтолог, один из открывателей «второго Баку», был талантлив не только в науке. Мишка показывал его многочисленные рифмованные записки жене и сыну, которые, независимо от повода, были наполнены искренней любовью, добротой и тонким юмором. Их невозможно было читать без того, чтобы не перехватило горло от сопричастности к этим чувствам, и горечи от осознания, что уже нет на свете такого замечательного человека. Зная о Мишкином отце совсем немного, я искренне сожалела о том, что не была с ним знакома (он умер до того, как Мишка стал студентом).

В их доме было очень много книг, много красивых старинных вещей, ювелирных украшений, много ненужного (на мой взгляд) хлама и много пыли.

У Мишки не было недостатка в деньгах. Он единственный из нашей компании мог пригласить нас в день своего рождения в ресторан. В тот вечер гостей у именинника было четверо:

мы с Хели (моя подруга-однокурсница из Таллина) и ещё двое ребят с нашего курса. Пошли в гостиницу «Балтийская» на Невском проспекте. Ресторан размещался на втором этаже, куда вела мраморная лестница с широкими дубовыми перилами.

Мы с Хелечкой пили шампанское, мальчишки – водку.

Пафнутий очень быстро опьянел и к десерту стал совсем хорош: с пьяным упорством неточными движениями вынимал цветы из вазочки и пытался украсить ими пирожные. Было неловко... Дальше – больше: Мишка развалился в кресле и, жестом разгулявшегося купца подзвав официанта, потребовал мясо-пептонный бульон (питательная среда, используемая для роста микробов в лабораторных условиях). Официант растерянно переспрашивал, мы смущённо извиняясь, с трудом уговорили Пафнутия закончить трапезу и облегчённо вздохнули, благополучно покинув зал ресторана.

Но, как оказалось, рано мы расслабились. Очутившись перед лестницей, Мишка неожиданно уселся толстой попой на широкие перила и съехал прямо в объятия к швейцару, у которого усищи встали дыбом от такой наглости. Мы, оставаясь наверху, замерли, а Мишка, как ни в чём не бывало, достал из кармана купюру (судя по реакции швейцара – не маленькую), и тот стал заискивающе расшаркиваться перед ним...

Но и на этом Мишкины фокусы в тот вечер не закончились. Он решил ехать домой только на такси и непременно всем вместе. Остановил машину. Таксист, не соглашавшийся сажать пятерых, вмиг забыл о правилах перевозки пассажиров, на которые ссылался, когда очередная купюра переместилась из Мишкиного кармана на соседнее с водительским кресло...

Приехали (какие мы были тогда изящные, я не про Мишку, он сидел впереди). Мишка, которого по пути окончательно развезло, не желал расставаться с нами и требовал продолжения банкета. С горем пополам мальчишки запихнули его в лифт (мы с Хели ждали внизу), высадили, приставили к входной двери в квартиру, позвонили и сбежали на один пролёт вниз. Наталья Никифоровна, бедная, открыла, приняла «посылку» (мы слышали, как Мишка пытался с ней объяснить)...

Удовольствие от ужина в дорогом ресторане было подпорчено, но зато частым поводом для веселья осталось воспоминание о съезжающем по перилам Пафнутии и изумлённом лице швейцара...

Весьма оригинально шутил Пафнутий и на трезвую голову. Приближалась сессия... Мишкины познания в микробиологии ограничивались мясо-пептонным бульоном, который он требовал в ресторане. Его мама слёзно просила меня подготовить её «великовозрастного обалдуя» к экзамену. Я не могла отказать женщине, которая была гораздо старше моей мамы да к тому же – доктор наук, преподаватель высшей школы. Целую неделю перед экзаменом я каждое утро приезжала к Пафнутию. Только повышенное чувство ответственности заставляло меня талдычить известные мне, но малоинтересные особенности и условия жизни и смерти разнообразных палочек, кокков и спирокет. Мишка искал любой повод, чтобы отвлечь меня: то он предлагал примерить фамильные драгоценности, то «подбрасывал» мне записки своего отца, которые были, конечно же, занятнее, чем различия между грамм-положительными и грамм-отрицательными микротварями.

Однажды, ближе к обеду, Пафнутий открыл крышку своих знаменитых часов, уточнил время и озабоченно сообщил, что ему срочно нужно позвонить по весьма важному делу. Я, естественно, направилась в другую комнату (в те годы телефоны устанавливались намертво, их не носили за собой). Пафнутий остановил меня и очень серьёзно: «Нет, нет, останься, тебе будет интересно». Набрал номер, уточнил: «Это духовная семинария?» (мне действительно стало интересно) и завёл долгий нудный разговор о том, что он, студент медицинского инсти-

тута, хочет поступить в семинарию, потому что всегда мечтал стать священником, но не смел ослушаться родителей; но вот теперь, когда он стал старше и убедился, что медицина его совершенно не привлекает, он готов пойти против их воли и т. д. и т.п. . . Он говорил так серьёзно, а отсутствие у него интереса к учёбе было так очевидно, что я всё приняла за чистую монету и даже успела пожалеть о времени, которое трату напрасно, натаскивая его к экзамену.

Мишка, между тем, подробно выяснял, зачтут ли ему некоторые предметы, сколько лет нужно учиться, что-то о каникулах, о стипендии, о распределении. . . Ему подробно отвечали, он снова расспрашивал, что-то уточнял и проговорил не меньше двадцати минут. Когда его собеседник, по-видимому, понял, что разговор намеренно затягивается, он предложил Мишке обсудить детали при встрече. Пафнутий, сооротив для меня физиономию жизнерадостного дебила, дурашливо выдал: *«А это ничего, что я еврей?»*.

Представляю, каково было православному священнику на другом конце провода, если даже мне не сразу стало смешно?..

Но вернёмся к моей фамилии. Рассказ о Мишке Порфирьеве я затеяла потому, что он единственный, кто называл меня не Людмилой, и даже не Лорой, он называл меня *«Дзета, Дзеточка»*. Согласитесь, достаточно симпатично и совсем не обидно, тем более, что это прозвище не прижилось, и кроме него никто другой так ко мне не обращался. Но вот в этом, как оказалось, я заблуждалась. А выяснилось всё при очень забавных обстоятельствах.

Была весна. Приближалась православная пасха. У Порфирьевых была дача в посёлке Дубки, недалеко от Ломоносова. Мишкин дедушка (а, может, прадедушка) был священником, причём, какого-то высокого чина. У них дома было несколько икон в серебряных окладах (не в красном углу, естественно), крест очень красивый, не нательный, а большой, тяжёлый, какой носят церковные иерархи, с натуральными камнями, с эмалью. . . Возможно, именно поэтому в их доме праздновали пасху и в годы процветания воинствующего атеизма. Короче, Мишка передал нам с Хели приглашение своей мамы, с которой мы тогда ещё не были знакомы, провести выходные дни на даче. С удовольствием, хоть и не без некоторого смущения, мы отправились в гости. Встретились на вокзале, познакомились, в электричке поболтали о том, о сём. Приехали. Всё было замечательно: после хмурого каменного Ленинграда было так радостно увидеть голубое небо, вдохнуть свежий душистый воздух, ступить на живую землю. . .

Наталья Никифоровна пошла в дом, а нам приказала *«насыщаться кислородом»*. Минут через десять из дома вдруг понеслись возмущённые крики: *«Негодяи! Сволочи! Я тебя убью, Мишка!»*. Мишка невозмутимо пыхтел своей трубкой и подавал нам свободной рукой успокаивающие сигналы. Мы почувствовали себя неловко, не понимая, что происходит. Наталья Никифоровна выскочила из дома и, воинственно подняв над головой большую сковородку, пошла на Мишку. Он, неуклюже, – от неё. В погоне за «негодяем» Наталья Никифоровна предъявляла претензии, прояснившие причину её внезапного гнева: *«Ах ты, поганец! Сколько раз я просила тебя не давать ключи кому попало?! Мало того, что перепачкали постельное бельё и даже не потрудились снять его, так ещё и всю картошку, которую я на яровизацию разложила, сожрали!»*.

Мишка, по-девчоночьи разбрасывая ноги (бегом это нельзя назвать), отступал и, постоянно оглядываясь, увещевал мать: *«Мамочка, не сожрали, а съели, ты же интеллигентная женщина!»*. Наталья Никифоровна, по-моему, просто делая вид, что не может его догнать, настаивала: *«Нет, сожрали! сожрали! Я так старалась, всю зиму её берегла, а они, негодяи, сожрали! сожрали!»*.

Зрелище было настолько уморительное, что мы с Хелькой не смогли сдержаться и расхохотались. Наталья Никифоровна остановилась, взглянула на нас с недоумением, но уже через

мгновение хохотала вместе с нами. Мишку долго уговаривать не пришлось. Пыхтя и отдуваясь после непредвиденной разминки, обнимая хохочущую мать одной рукой и предусмотрительно отбирая у неё сковородку – другой, он смущённо повторял: *«Извините, девочки, мою маму. Это она так, всплыла немного. А вообще-то она очень хорошо воспитанная интеллигентная женщина»*.

От его слов, а еще больше от того, как он это говорил, мы втроём просто покатывались со смеху, еле успокоились.

Позднее, пока Мишка и Хелечка обозревали окрестности, я помогала Наталье Никифоровне. Мы накрыли стол на уютной застеклённой веранде, где стояла ротанговая мебель: большой стол, диван и очень уютные кресла (такую мебель я до того видела только в кино). Было очень весело, мы «чокались» крашеными яйцами, ели вкусный творог с изюмом и ванилью, Наталья Никифоровна рассказывала смешные истории из жизни курсантов, анекдоты и, обращаясь ко мне, называла так же, как Мишка, – «Дзеточка»... И тут выступил Пафнутий: *«Мама, Людмила ведь может обидеться. То, что я её так называю, вовсе не означает, что и тебе это позволено. Для меня она – Дзеточка, а для тебя – Людмила»*.

Нет, я вряд ли смогу, не используя мимику и жесты, передать то, что случилось с Натальей Никифоровной. Она каким-то чудом выпучила свои маленькие глазки, всплеснула руками, охнула, откинулась в кресле, на разные лады повторяя: *«Как же это? Как?»*; потом стала истерически хохотать, буквально задыхаясь не то от смеха, не то от икоты, так что мы даже перепугались. Наконец, отдышавшись, она запричитала, обращаясь ко мне: *«Господи, извините, пожалуйста, я ведь была уверена, что Вас так зовут. Ведь ты же, Мишка, всегда говорил: Дзета такая, Дзета ская. И фотографии показывал – это Дзеточка. У меня на кафедре все сотрудники уже знают, что у моего сына есть однокурсница с красивым греческим именем – Дзета. Вот уж поиздеваются они надо мной!»*...

Она так огорчилась, услышав моё обычное русское имя, что её интерес ко мне явно уменьшился. Раздосадованная, она спросила: *«Но почему же тогда „Дзета“, какая связь с Людмилой?»*. Я вновь «выросла» в её глазах, когда выяснилось, что «Дзету» Мишка произвёл из окончания моей фамилии.

Вне связи со своей фамилией, но в связи с горькой потерей, вспомнила, что у меня было ещё одно «индивидуальное» имя-прозвище – «кукла». Теперь я никогда уже не услышу: *«Ты – кукла, а кукол я не люблю!»*. Так говорил Женька Шварц, глядя на меня влюблёнными глазами. Ему было всего 63, он был, казалось, здоров и полон сил, мы с мужем ждали его в гости 12 июня, а 1-го июня он умер. Смерть нелепая, неожиданная – возвращался с женой с дачи. Яна, как всегда, за рулём. Ему стало плохо, при въезде в город Яна вызвала скорую, пыталась самостоятельно оказать необходимую помощь (она – врач-кардиолог) – безуспешно...

Познакомились мы с Женькой Шварцем во время вступительных экзаменов. Хотя поступающих были тысячи, его я запомнила сразу. Во-первых, мы оказались в одной экзаменационной группе абитуриентов. Во-вторых, он был еврей, которых я выделяла с тем же удовольствием, что и грузин. В третьих, он был взрослый (на 3 года старше меня), очень серьёзный и, безусловно, умный. А я в пору своей бескомпромиссной юности почитала интеллект ведущим качеством и признавала только умных (понадобилось много лет, чтобы я научилась понимать, принимать и ценить людей не только за высокий интеллект и глубокие знания). Женька не был красавцем: среднего роста, с пышной вьющейся шевелюрой (уже к третьему курсу она навсегда

покинула его умную голову), с большими очками на горбатом носу. Но мне понравилось, что он не суетился, не толкался, как многие другие абитуриенты, озабоченно выясняя, придирчивы ли преподаватели, какие задают дополнительные вопросы, сколько двоек было у предыдущей группы и прочая и прочая...

Последним штрихом, который сделал Женьку незабываемым, стал вступительный экзамен по английскому языку. Когда я услышала, как он читает текст, мне стало и смешно и грустно. Смешно, потому что такое жуткое произношение трудно представить. Грустно, потому что я была уверена, что его английский нельзя оценить положительно, и, значит, он не станет моим однокурсником. К счастью, экзаменаторы были не столь категоричны, и Шварц стал студентом. Трёхлетний рабочий стаж, пятёрки по химии и физике, а также преимущество по половому признаку перевесили не только чудовищное английское произношение, но и пятую графу в «серпастом молоткастом» (одна из известных шуток в советские времена – «меняю пятую графу на две судимости»)...

Первого сентября нас поздравили с почётным званием студента ЛГПИИ и приказали второго утром явиться с вещами в рабочей одежде. Первый месяц студенческой жизни мы должны были не учиться, а трудиться, демонстрируя безоговорочную готовность служить родному отечеству и советскому народу по первому зову и на любой ниве.

Мы оказались в одном совхозе. Признаться, у меня сохранились весьма смутные и обрывочные воспоминания об этом времени. Впервые в жизни я попала в столь суровые условия; меня очень угнетало отсутствие элементарных бытовых удобств, постоянное ощущение усталости и, главное, – грязи. Основной моей задачей было – пережить этот ужас и при этом не выглядеть избалованной и неприспособленной к трудностям. Это требовало стольких усилий, что ни на что другое меня не хватало. Женька Шварц – один из немногих, кого я запомнила по колхозу. Он очень неумело пытался ухаживать за мной, помогал, старался быть рядом. Я узнала, что он приехал из Белоруссии. Свой город он называл не иначе как «*Рио-де-Бобрыйск – интеллектуальная столица мира*». Его отец был военным лётчиком и погиб осенью 41 года, когда ему было всего полгода. Мама вышла после войны замуж, но отчим (русский) его не усыновил, и Женька был единственный Шварц в семье Гудковых, где подрастала его сестрёнка.

Как-то, возвращаясь с поля в свой барак, мы с сожалением вспоминали некоторых из «отсевшихся» ребят, с которыми успели познакомиться во время вступительных экзаменов. Я призналась, что и его, Женьку, не рассчитывала увидеть в списках зачисленных, когда услышала его «аглицкое» произношение. Шварц, очень самолюбивый и тщеславный, при этом неуверенный в себе и потому очень ранимый, с трудом пытаюсь скрыть обиду, стал уверять меня, что достаточно хорошо знает язык. В доказательство он поднял глаза и руку к небу и гордо произнёс: «*Ску блай*» (для тех, кто не знает английский: sky blue – скай блу – голубое небо; невольно приходит на ум шутка о трудностях чтения на английском: «написано «Манчестер», читай – «Ливерпуль»). До сих пор помню растерянное и обиженное Женькино лицо, когда я рассмеялась.

Все сорок с лишним лет, при каждой нашей встрече мы вспоминали это торжественно-гордое – «ску блай». Но Женька уже не обижался, скорее – наоборот. Теперь всё, о чём мы вспоминали, было приятно, потому что это были воспоминания о молодости.

После колхозных подвигов мы обнаружили себя в новых списках учебных групп и оказались со Шварцем на разных потоках. Это значит, что официально мы встречались только

на общекурсовых лекциях, которые бывали не так часто, и некоторые из которых я прогуливала. Мне не хотелось тратить время на физику, например, которую я не любила и не понимала. К тому же наш физик, профессор Ш. через каждые два-три слова блеял, как старый козел «э-э-э». Его никто не слушал, все занимались своими делами – читали, переписывали конспекты, играли в карты, в балду, в морской бой... Я предпочитала вообще его не слышать. Должна признаться, что первые два институтских курса не вызвали у меня интереса.

Общеобразовательные дисциплины – физика, химия, биология – были, в основном, повторением и некоторым углублением школьного курса и не увлекали меня. Философские науки (вернее, стиль их преподавания) отвратили меня после подготовки первого обязательного реферата. Из множества предложенных тем я выбрала ту, которую коротко можно обозначить как «Павлов и Фрейд» (я не помню, что конкретно нужно было сравнивать в их учениях). Так как предложенной литературы, в которой от Фрейда оставались лишь подобранные для аргументации в пользу Павлова цитаты, было явно недостаточно, решила почитать самого Фрейда. Каково же было моё разочарование (недоумение, негодование, протест), когда в моей любимой публичке (публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина на Фонтанке) мне отказали, объяснив, что Фрейда дают только научным работникам, имеющим специальный запрос из института, подтверждающий, что Фрейд им необходим для научных целей; к тому же, не в этой библиотеке, а в другой, для научных работников, на Невском, куда нужен специальный пропуск...

Лекции по истории я тоже перестала посещать после первого семестра. На экзамене мне достался вопрос из истории Великой Отечественной войны. Надо напомнить, что это были годы «хрущёвской оттепели», когда все наперегонки, как можно яростнее и громче, старались продемонстрировать отказ от почитания Сталина, когда снимали его портреты и памятники, изменяли слова Гимна и других песен, когда Сталинград переименовали в Волгоград. Мне, как на грех, достался вопрос «Оборона Волгограда». Я же, отвечая, упорно повторяла «оборона Сталинграда», «Сталинградская битва». Преподаватель поправлял меня, полагая, что я оговариваюсь. Но я стала сопротивляться, заявив, что говорить «оборона Волгограда» всё равно, что сказать, будто Клодт и Росси творили в Ленинграде...

Кстати, вдруг вспомнила, как на экзамене по истории КПСС одна из наших однокурсниц, отвечая на вопрос о культе личности Сталина, произнесла, сузив глаза, с чувством омерзения, буквально просвистев: *«Ещё Ленин называл Сталина генс-с-с-еком!»*. Экзаменатор с ассистентом так старались не расхохотаться, что даже не поинтересовались, что она подразумевает под этим «ужасным ругательством» – «генеральный секретарь»?

Самым ужасным предметом стала анатомия, которую без зубрёжки выучить невозможно, а зубрёжка настолько невозможна для меня, что возникала даже мысль о том, чтобы уйти из института, в который я так стремилась. Дело в том, что школьная программа не требовала практически усилий и большого времени; я привыкла заниматься только тем, что было мне интересно (впрочем, как и всегда потом, всю жизнь).

Но вернёмся к Женьке, а то я, как всегда, отвлеклась. Так вот, с Женькой мы виделись редко ещё и потому, что он жил в общежитии, а мне, как «материально обеспеченной», пришлось практически всю стипендию отдавать за право спать на одном диване с Адочкой (по сей день моей самой близкой подругой) в одной комнате с хозяйкой, в коммунальной квартире, населённой, кроме многочисленных двуногих, неисчислимым сонмом клопов.

Женька, хоть и робко, проявлял желание видеть меня не только во время лекций. Меня это мало заботило, я тогда была влюблена по уши, и для меня не существовали ни Шварц, ни другие молодые люди кроме одного единственного – Чапа. О Чапе – в другой раз, а пока –

о Шварце. Как-то в субботу Женька пришёл на стадион встретить меня после занятий по физкультуре (ещё один нелюбимый предмет, который заставлял меня ощущать свою неуклюжесть, в школе я была от него освобождена по причине плоскостопия). У Шварца были билеты в кино. Фильм был новый, с известными актёрами, я согласилась с условием, что предварительно мы заедем ко мне (на стадионе не только душа не было, но даже умыться было негде).

Жила я в центре, на Лиговском проспекте, совсем рядом с Невским, на пятом этаже старого питерского дома-колодца. Женька подниматься не стал, да я и не настаивала. Он остался на улице у стенда с газетами. Вошла в комнату, а на столе цветы и шоколад – прилетел Чап. Он тогда учился в академии Жуковского в Москве и любил устраивать подобные сюрпризы. Хозяйка сказала, что у него не хватило терпения ждать, и он пошёл меня встречать. Я стала лихорадочно хвататься за полотенце, платье, задавала Анне Николаевне вопросы, не слыша ответов... *«Вот, вот, оба сумасшедшие! Говорила ему, подожди здесь, не знаешь ведь, с какой стороны придёт, где встречать; нет, побежал, как ошпаренный! Ну, и где ты теперь будешь его искать?»*.

Выскочила на улицу, увидела Женьку, о котором совсем забыла, и, переполненная счастьем предстоящей встречи, лишь на мгновение осознав, как некрасиво поступаю по отношению к нему, на ходу извиняясь, что пойти с ним сейчас не могу – обстоятельства, убежала... Шварц, бедный, даже не нашёлся, что сказать. А при следующей нашей встрече в институте, когда я попыталась ещё раз извиниться, что-то бормоча в своё оправдание, он, безуспешно стараясь выглядеть безразличным, заявил: *«Ты – кукла, а кукол я не люблю!»*.

Честное слово, я не обиделась, скорее, обрадовалась. Никогда мне не доставляло удовольствия видеть, что я нравлюсь тому, кто мне безразличен; наоборот, – это всегда смущало и тяготило меня. Потому я была искренне рада, что Женька, как мне казалось, сам справился с тяжёлой для меня задачей. После того случая Шварц прекратил всякие попытки ухаживать за мной, хотя и не скрывал своей симпатии, и стал называть меня «куклой»... Это прозвище тоже не прижилось, потому что никто другой не разделял индивидуальное видение Шварца, его персональное мнение обо мне.

И вот Женьки не стало... Теперь никто и никогда не назовёт меня куклой. И никто не будет так открыто говорить о своей любви. А он говорил. Все годы после института, когда у нас обоих уже были дети, когда мы встречались в Питере или у нас в Новгороде семьями, он всякий раз вспоминал, как я его обидела; говорил, что всё равно меня любит, что я просто дура набитая, потому что не смогла предугадать, что он станет доктором наук, профессором, академиком, известным генетиком и прочая и прочая...

На моём шестидесятилетии Шварц, знакомясь с моей мамой, галантно поклонившись и поцеловав её руку, представился так: *«Евгений Шварц. Это я должен был стать Вашим зятем, если бы Ваша дочка была поумнее, а я не был бы таким обидчивым. Вот Соловьёв не обижался, а я, дурак, обиделся!»*... Моя мамуля так растерялась, что даже не нашлась, что ответить. И потом, вспоминая, причитала: *«Как он мог такое сказать?! Да ещё при Володе! Ничего себе шуточки! Какой он профессор?! Мальчишка!»*...

На первых порах Яна, Женькина жена, обижалась, и я её прекрасно понимаю. Помню, как наши друзья-питерцы приехали в Новгород отметить десятилетний юбилей нашей свадьбы. Субботний вечер мы провели в банкетном зале лучшего в те годы ресторана, потом почти до утра дома «пили чай». На следующий день, в воскресенье, я проснулась от запахов кухни. Шварц, оказалось, встал ни свет, ни заря, начистил и натёр картошку и теперь, перевязав моим фартуком своё отчётливо наметившееся брюшко, стоял у плиты и жарил фирменное блюдо – белорусские драники. За завтраком, принимая похвалы уплетающих за обе щеки бездельни-

ков, он, не умолкая, издевался надо мной: *«Вот-вот, благодарите меня! Эта кукла дрыхла бы до полудня! Вы бы у неё позавтракали! В лучшем случае – давились бы бутербродами...»*.

Это была неправда; времена, когда я могла спать до полудня, давно миновали, и наготовила я всего вдоволь. Но некоторые основания для подобного заявления у Шварца всё-таки были.

Мои однокурсники часто и с непреходящим недоумением любили вспоминать, как я однажды проспала в день экзамена. Соседки по комнате в общежитии, как они потом рассказывали, будили меня несколько раз, я отвечала, что через пару минут встану. Они ушли, а я действительно проспала до полудня. Подскочила, бегом на кафедру, а вся группа уже отстрелялась, ждут за дверью, преподаватель оформляет ведомость... Согласно правилам, студент, не явившийся на экзамен без уважительной причины, автоматически получает «неуд» и, соответственно, остаётся без стипендии... С покаянным видом вхожу в аудиторию, прошу разрешить мне взять билет. Не столько недовольный, сколько удивлённый (я хорошо училась) преподаватель спрашивает о причине опоздания. Я честно отвечаю. Не веря, что подобное возможно, он предупреждает: *«Я приму у Вас экзамен, если Вы скажете правду»*. Я растерялась. Выручили одноклассники, они стояли у приоткрытой двери в ожидании развязки. Мой дружок Коля Скороходов, прихватив за руку старосту, вошёл в аудиторию, и они наперебой стали уверять, что я говорю истинную правду, что я никогда не нервничаю перед экзаменами, что я очень крепко сплю, что случившееся их совершенно не удивляет... Преподаватель оказался понимающим, получила «отлично».

Снова отвлеклась... Да, вспоминала Женькины драники... тогда все были довольны, одна Яна дулась, упрекая Женьку в том, что дома он на кухню заходит только поесть... После завтрака я мыла посуду, Женька её вытирал и вспоминал какие-то наши встречи, о которых я совсем забыла (Яна тоже была в кухне). Не обращая ко мне по имени, Шварц просто говорил, *«а помнишь?»*. Яна, внимательно слушавшая его, переспросила: *«Женя, я что-то не помню, о чём это ты? По-моему, мы с тобой там никогда не были»*. Шварц, бестолочь, не оборачиваясь, бросил: *«При чём тут ты? Я с куклой разговариваю»*. Я обиделась за Янку, было неловко за Женьку.

Немудрено, что Яна относилась ко мне долгое время более, чем настороженно. Но шли годы, все мы становились старше, мудрее. Когда в день похорон мы плакали, обнявшись, Яна сказала: *«Женька так тебя любил!»*. Она уже давно поняла, что к такой любви не имеет смысла ревновать.

Любовь настолько загадочное, многообразное и индивидуальное чувство, что вряд ли его тайна будет полностью раскрыта. Соглашаясь с утверждением Толстого *«Если сколько голов, столько и умов, то сколько сердец, столько и родов любви»*, осмелюсь заметить, что одно и то же сердце по-разному любит разных людей. Я тоже любила Женьку. Не так, как ему хотелось когда-то, но любила. Мне кажется, я понимала его лучше, чем другие, и он это чувствовал.

Как многие талантливые люди, Шварц был очень противоречивый, неоднозначный, разный. С одной стороны, видимой всем, – высоко интеллектуальный, обладавший феноменальной памятью учёный, остро реагирующий на требования времени, угадывающий новые

направления в науке; с другой, менее очевидной, – страдающий от неуверенности в себе, нуждающийся в постоянной поддержке, в признании собственной значимости; тщеславный, самолюбивый и совершенно беспомощный в обыденной жизни.

Часто мне бывало жаль его. Обладая недюжинным интеллектом, он не успел стать по-настоящему взрослым, психологически зрелым. Он не сумел дорасти до осознания того, что удовольствие, удовлетворение от процесса деятельности и достигнутых результатов гораздо важнее признания, славы, которой он так страстно жаждал... Ему было мало, как он признался во время последней нашей встречи, быть «широко известным в узких кругах генетиков», чем я пыталась его утешить; он всерьёз мечтал о всемирной известности, о славе, равной славе Эйнштейна...

А ещё горько, что в нашей стране не ценят таких людей. Мало того, что не создаются условия для их работы, так ещё куча бюрократов от науки и завистников чинят им всяческие препятствия. Сколько таких преград пришлось преодолеть Шварцу!.. Перед государственными экзаменами неожиданно для всех, уже после предварительного распределения, нашему выпуску выделили место во вновь создаваемой в Ленинграде лаборатории медицинской генетики. Шварц был несказанно рад этому: отдельно, как науку, медицинскую генетику нам тогда не преподавали, но он, понимая перспективы, начал изучать её самостоятельно, посещая факультативные занятия в университете, общаясь с будущими биологами. Учитывая это, у Шварца было явное преимущество перед однокурсниками.

Но были два обстоятельства, которые могли ему помешать: пресловутая пятая графа и отсутствие ленинградской прописки, на которую в Ленинграде был лимит. Помогло отсутствие претендентов на это место... Обидно и смешно! Малообразованных парней и девчонок, которые приезжали из провинции строить метро, прописывали, давали общежитие, ставили в очередь на получение жилья... А Женьке – умнице, который мог бы сделать для науки, для страны гораздо больше, если бы ему хотя бы не мешали, ему даже это было «не положено»! Шварц долго жил в Ленинграде на птичьих правах, ютился, где придётся, долго работал без зарплаты... Помогли замечательные люди, родители нашей ленинградской подруги. Они прописали Женьку в своей квартире. Это позволило ему «легализоваться».

Жалко Женьку! Жалко всех, живущих в такой прекрасной богатой стране и в таком прогнившем насквозь лицемерном криминальном государстве. А ещё страшнее то, что подавляющее большинство не только мирится, но и приветствует сложившееся положение...

Но не будем о грустном... Вот, вспомнила ещё одну ситуацию, связанную с моей фамилией: моему внуку Володе ещё не исполнилось тогда двух лет (1 год и 10 месяцев), но он уже очень чисто и много говорил, был очень спокойный, рассудительный и серьёзный (весь в меня и в своего папу – моего младшего сына Николая). Мы все были тогда на даче. Лена, невестка, очень трепетно относилась ко всему, что касалось питания и воспитания сына; уехав на пару дней с Николаем, оставила мне лист А4, исписанный с обеих сторон мелким почерком с подробными указаниями. Но, даже если бы я решилась отступить от них, внук бы мне этого не позволил. Например, собрались с ним после завтрака на прогулку; погуляли, вернулись, переобуваемся: снимаю с него сандалики и собираюсь надеть домашнюю обувь. Он сопротивляется: «*Нужно и носочки переодеть, эти – гуляльные!*»...

Сидим в саду втроём – мы с моей мамой и Вовчик. Вовчик в полюбившемся ему гамаке. Мама, которой нравилось, что её правнук такой смышлёный («наша порода!»), стала задавать ему вопросы, кого из членов семьи как зовут, кто где живёт... Всё рассказал: что бабушку зовут Людмила Николаевна, что она врач, как и дедушка, только дедушка – главный врач... После ответа на вопрос о его фамилии «*Соловьёв, как у папы, и как у дедушки*», моя мама вдруг спра-

шивает: «*А ты знаешь фамилию бабушки?*». Я даже рассердилась, зачем такому крохе давать непосильные задания? Каково же было наше изумление, когда Вовчик без запинки произнёс: «*Знаю, – Лордкипанидзе!*»!

Я тогда вспомнила, как его папа, Николаша, когда ему было лет 5—6, рассердил мужа. Помню, это случилось за ужином. Мы вчетвером сидели за столом и о чём-то беседовали. Не могу вспомнить, в связи с чем (так это было неожиданно), Коля вдруг заявляет: «*А можно, когда я вырасту, я буду не Соловьёв, а Лордкипанидзе?*». Муж молча устремил на меня гневный возмущённый взгляд, а я объяснила сыну, что фамилию могут менять только взрослые; вот когда вырастет, тогда и решит.

Конечно же, когда мы остались вдвоём, разгневанный муж впервые попытался настоять на том, чтобы я изменила свою фамилию. Мне удалось его успокоить, убедив, что Николай, повзрослев, не станет ни говорить об этом, ни, тем более, делать. А повод у мужа был и раньше, когда моя будущая свекровь, не стесняясь моим присутствием, объясняла сыну, что моё нежелание менять фамилию после брака говорит о моей недостаточной любви к мужу. Тогда Соловьёв не поддержал свою маму. Думаю, потому, что был настолько рад моему согласию стать его женой, что не смел ставить никаких условий.

Признаюсь, я была бы счастлива, если бы Вовчик носил мою фамилию и сохранил её. Тем более, он учится в Англии, может, и жить будет в стране лордов...

Но решать, увы, не мне...

Мои корни или национальный вопрос в семейном интерьере

Глава вторая

*«Рождённый женщиной несёт
на спине своих родителей.
Не на спине, в самом себе.
Всю жизнь он их должен нести.
Их и воинство их.
Всех пра-прародителей.»*

Амос Оз.

Долгие десятилетия я представляла свои генетические корни, как одинаково мощные стволы двух прекрасных огромных деревьев, которые волею судьбы сплелись и дали общие ветви, обрастающие всё новыми и новыми побегами.

Один из них – уходящий в глубь веков известный род грузинских князей, к которому принадлежал мой папа – Лордкипанидзе Николай Семёнович (Нико Симонович).

Другой – рос и крепчал в среде древнейшего, избранного Б-гом и гонимого людьми народа, представителем которого была моя мама – Кучук Елизавета Ефремовна (Лиза Фроймовна).

Судьба, соединившая столь разных людей, представлялась мне в образе страшной мировой войны, в безумно-жестокой круговерти которой пересеклись дороги выпускника Тбилисского медицинского института 1941 года, и выпускницы средней школы небольшого местечка Песчанка, Винницкой области на Украине.

О том, что я – грузинка, я знала с тех пор, как помню себя и знаю свою фамилию. О своей половинчатой грузинско-еврейской национальности узнала позднее. И лишь на склоне лет мне предстояло открыть нечто совершенно новое о своих корнях.

Но обо всём по порядку.

Моя Грузия

Я – папина дочка; сколько себя помню, я обожала папу и ни разу не усомнилась во взаимности. В детстве безмерно гордилась тем, что я, как и папа – грузинка. Гордости добавляло то, что самый главный, самый любимый всеми советскими людьми человек, великий вождь всех народов – Иосиф Виссарионович Сталин – тоже грузин!

В 4 года, читая по просьбе гостей стихи, я гордо объявляла: «*Кошкина родня, редактор – Махвеладзе*». Нет, никто меня этому не учил, просто я рано начала читать, нашла грузинскую фамилию на обложке и, хотя она была напечатана мелким шрифтом, сама решила, кто главный.

Люди моего возраста помнят, что везде и повсюду в Союзе были памятники, бюсты, портреты Сталина (страшно представить, что это может повториться, хотя предпосылки – явные). На одном из них вождь держал на руках девочку с такими же, как у меня, длинными тёмными кудрявыми волосами. Я так завидовала этой незнакомке и так мечтала оказаться на её месте!

Когда Сталин умер, многие из окружавших меня взрослых плакали, многие искренне и безутешно рыдали, причитая с неподдельным ужасом: «*Что же теперь будет, что будет?!*»; вероятно, им всерьёз казалось, что со смертью вождя рухнет мир...

Я тоже очень огорчилась, потому, что моей мечте теперь не суждено было сбыться...

Несколько утешило меня то, что смерть Сталина ускорила весьма важное событие, которого я с нетерпением ждала – приём в пионеры. По предварительному плану это должно было произойти в праздничный день 22 апреля – в день рождения Ленина. Но кто-то там, наверху, признал день смерти нынешнего вождя более подходящим для столь знаменательного события, чем день рождения предыдущего... Нам срочно раздали текст клятвы, которую я помню по сей день.

Точно не помню, кажется, 8-го или 9 марта 1953 года, в небольшом школьном вестибюле, украшенном красными знамёнами с чёрными бантами, заполненном заплаканными учительницами с траурными повязками на руках и перепуганно-растерянной малышняй (школа была начальная), нас, нескольких второклассников, приняли в пионеры. Поскольку выучить клятву за пару дней никто, кроме меня, не успел, пришлось мне произносить короткими кусками: «*Я – юный пионер Советского Союза*», все повторяли вразнобой; и дальше – «*перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...*»... и так, пока не добрались до конца.

Торжества не получилось, я была разочарована...

Папина служба военного врача вынуждала нас переезжать с Украины на Сахалин, оттуда – в Азербайджан, снова на Украину (знаю, что сейчас говорят «в» и «из» Украны, но в те времена, о которых я вспоминаю, говорили так). В Грузии я бывала только во время папиного отпуска, если он мог взять его летом... К концу месяца обычно понимала многое из бытовой речи, но языка так и не знаю, увы. Папа, вероятно, не считал, что нам, его детям, обязательно знать грузинский, да и некогда ему было – он днями пропадал на службе.

Правда, задолго до того, как мы с мамой поехали знакомиться с грузинской роднёй, папа научил меня здороваться, благодарить, обращаться по-грузински к бабушке, тётям, дядям; я, например, заранее знала, что у меня есть три тёти Тамары: одна Тамара-мамида – папина самая старшая сестра, и две Тамары-бицолы – жёны папиных братьев; я пела с папой «Сулико» по-грузински...

Сам папа в те годы прилагал усилия, чтобы лучше освоить русский. Несмотря на то, что с 23 лет он вынужден был говорить по-русски (началась война, папу в числе других выпускников-врачей мобилизовали, направили на фронт, а после окончания войны, вопреки его желанию, оставили на службе), папа до последних дней сохранил выраженный акцент. Так, он мог спросить меня «где ты был?», а брата – «что ты кушала?»... Мне нравилось в детстве поправлять папу, когда он говорил «лягушка», «японка» с ударением на первом слоге.

Кстати, общаясь с кавказцами, подолгу живущими в России, я пришла к выводу, что быстрее всех теряют акцент азербайджанцы, дольше сохраняют его армяне, у большинства грузин он не исчезает никогда. Возможно, это связано с наличием в языке очень специфических звуков, отсутствующих в русском, и – наоборот.

Помню, на Сахалине, где папа служил с 1947 года, они с мамой вечерами занимались: мама диктовала тексты из газет, папа старательно писал химическим карандашом. Однажды, проверяя его диктант, мама с укоризной сказала: «*Николай, я ведь тебе объясняла: имена, фамилии, названия городов, рек, гор пишутся с большой буквы, а ты „Гитлер“ написал с маленькой*».

Папа, с отличием закончивший и школу, и медицинский институт (на грузинском, в котором отсутствуют заглавные буквы), скрывая смущение, буркнул: «*Ну вот ещё, буду я каждую собаку с большой буквы писать!*»...

Несмотря на то, что моё «грузинство» ограничивается исключительно фамилией, а моя детская гордость принадлежностью к древнему грузинскому княжескому роду давным-давно, слава Б-гу, сошла на нет, я всё равно считаю Грузию одной из важных составляющих понятия «родина» и испытываю родственное отношение не только к папиным родственникам, но и ко всему грузинскому.

Первая после папы, конечно же, моя единственная любимая бабушка Зина. Единственная, потому что бабушка Дина, мамина мама, так рано умерла, что я её совершенно не помню.

Бабушка Зина живёт во мне как самая добрая, и не просто очень спокойная, а какая-то умиротворённо-тихая, неслышная, любящая всё и всех женщина. Как большинство грузинских женщин в те годы, она постоянно ходила в трауре – во всём чёрном, от обуви до платка на голове. Изящная, стройная, с тонкими чертами лица, с мягкими, серебристо-белыми седыми волосами, с лёгкой, будто скользящей над землёй походкой..

Бабушка Зина хорошо говорила по-русски, в своё время она закончила гимназию, но была молчалива, если говорила – немногословна, я ни разу не слышала, чтобы она повысила голос.

Бабушка никогда не говорила о своей любви, но столько тепла было в её медово-карих глазах, столько нежности в мягких прикосновениях сухих и тёплых ладоней, столько ласки в голосе, что даже сейчас, вспоминая об этом, я испытываю до слёз приятное чувство...

Вспомнила ярко, в ощущениях света, запахов, звуков такую сценку: мы проводили папин отпуск в Грузии, в деревне, у папиной сестры Ксении. Папа умывался перед обедом; он стоял, нагнувшись, с обнажённым торсом, бабушка поливала ему воду на руки, на шею; я стояла рядом с чистым полотенцем.

Бабушка протянула свободную руку и молча провела ею по папиной спине. В этом прикосновении было столько тепла и нежности, что я, наблюдавшая до этого за папой, подняла глаза на бабушку. Меня будто током пронзило. Если бы я была художником! Если бы могла передать выражение её лица, её взгляд – это была материализованная любовь – не слово, не понятие, не чувство...

Мне тогда было лет 14, я вряд ли бы смогла передать словами своё впечатление, да и сейчас не очень получается... меня будто накрыло тёплой волной нежности, будто всем своим существом – и чувствами, и разумом я прикоснулась к истинной любви, ощутила её присутствие, её наличие и величие...

Вот так же умел любить и мой папа. С болью и горечью, со стыдом за свой эгоизм, вспоминаю, что, рыдая в день папиной смерти, я страдала не только от того, что папа так рано умер, но (и, кажется, даже произнесла это) и от осознания того, что никто другой не будет любить меня так, как любил меня папа...

Помню, лет в 8 у меня на тыльной стороне правой кисти, у основания большого пальца появились бородавки (никаких лягушек я не трогала). Больше всех по этому поводу переживала мама, считая бородавки проявлением нечистоплотности. Мама настаивала, чтобы папа предпринял немедленные меры для их устранения. Папа же больше всего боялся причинить мне боль.

Летом мы проводили папин отпуск у бабушки. Папа с мамой, взяв с собой Диану, куда-то уехали на пару дней, а я осталась с бабушкой. Мне нравилось, что бабушка не расспрашивает меня ни о чём, не пытается развлекать. Я помогала ей собирать листья шелковицы, чтобы кормить шелкопрядов. Мне было очень интересно наблюдать, как эти удивительно прожорливые создания из крошечных, будто маковых, чёрных зёрнышек превращались в толстых белых гусениц, пожирающих всё более несметное количество зелёных листьев. Спустя время, гусеницы, пресытившись, начинали наматывать на свои жирные тушки белую или золотисто-жёлтую клейкую «нить», превращаясь в белые и жёлтые коконы.

Каждое утро у бабушки начиналось со звонкого крика симпатичного старика, торговавшего мацони: «*Мацони, свежий мацони!*», – почти безостановочно кричал он, проходя под окнами. Очень вкусное кислое молоко я, разбуженная весёлым голосом, выпивала прямо из 250 граммовой баночки. Баночки были с таким же широким горлом, как и поллитровая, только вдвое ниже; мне почему-то они очень нравились...

После обязательного мацони бежала проверять состояние прожор. Дело в том, что если коконы не сдать на фабрику вовремя, дремлющая в коконе гусеница превратится в бабочку и разрушит кокон. Хотя бабушка уверяла меня, что не допустит этого, я очень беспокоилась, что процесс разрушения может начаться ночью...

В то утро, когда мы с бабушкой остались вдвоём и уже забросали очередной порцией листьев ненасытных гусениц, моя тихая бабуля сказала: «*Теперь займётся твоей ручкой*». Она взяла пучок каких-то трав (видимо, заранее приготовленных), растолкла их камнем-пестиком в деревянной ступке, приложила эту влажную кашу к бородавкам, перевязала кисть чистой белой тряпочкой (не бинтом, я хорошо помню) и велела руку не мыть, пока она сама не снимет повязку.

Через пару дней, перед приездом родителей, бабушка развязала утратившую белизну тряпицу, сама вымыла мне руку, и – о, чудо! – кожа оказалась совершенно чистой, как будто на ней никогда не было никаких бородавок!

Мама была счастлива и всё повторяла: «*Глазам своим не верю!*».

Вспомнив об этом, думаю, что бабушка не случайно проделала эту операцию в отсутствие родителей, потому что не хотела, чтобы они, строгие ревнители гигиены, видели, как я ем невымытой рукой в несвежей повязке...

По-моему, это случилось тем же летом. После обеда все разбрелись – кто в сад под тень деревьев, кто прилёт на веранде, кто-то сел играть в шаши-беши (так в Грузии называют нарды).

Мама и бабушка на задней веранде, выходящей во двор, готовились мыть посуду: сбрасывали в ведро остатки с тарелок пока грелась вода. Большущее ведро с арбузными корками стояло уже внизу, у крыльца. Высота веранды – метра полтора (подробность о большом ведре и высоте веранды очень важна, что станет понятно через несколько строк).

Я, как всегда, пристроившись в углу, читала. Уйти не могла, потому что должна была следить за Дианой. Сестричка сама нашла себе занятие: большим тяжёлым молотком забивала гвозди в какую-то деревяшку. Диана, в отличие от меня-увальня, с первых дней жизни была очень деловая и энергичная, она не могла находиться без движения ни минуты. Короче, все были при деле.

Вдруг во двор, привлечённая манящими ароматами свежих послеобеденных объедков, пришла довольно большая соседская собака, присела неподалёку и вежливо подала голос, подняв на хозяйку умильную морду. Бабушка так же вежливо попросила гостью немножко подождать, её руки уже были в тазу с горячей водой и грязной посудой.

Диане собака не понравилась. Подойдя к краю террасы, которая, в отличие от фасадной, была без перил, сестрёнка, не выпуская из рук молотка, сердито закричала: *«Уходи собака, уходи!»*.

То ли потому, что не понимала русского языка, то ли, не считая нужным реагировать на столь мелкое создание (Диане было 3 года и она была малюсенького роста), собака продолжала неподвижно сидеть, устремив преданный взгляд на бабушку в предвкушении праздничного угощения.

Бабушка попыталась успокоить сестричку, стала объяснять, что собака хорошая, что она наша соседка, что бабушка с ней дружит и всегда её угощает...

Диана упрямо настаивала: *«Нет, она чужая, пускай уходит!»*.

Ещё пару раз безрезультатно воззвав к собаке, Диана не на шутку рассердилась и замахнулась молотком, рассчитывая, вероятно, попасть в собаку. Тяжесть молотка оказалась не намного меньше веса «метательницы молота», и «богиня охоты» полетела вниз головой, угодив прямо в большое ведро с арбузными корками. Мама, которой было 28 лет, побежала к ступенькам, а 65-летняя бабушка спрыгнула с террасы и вытащила Дианку, которая, к счастью, оказалась совершенно целёхонька и истошно орала исключительно от страха и злости.

Перепуганная собака спешно ретировалась.

В те же дни произошла ещё одна забавная сценка, в которой кроме Дианы участвовали наш кузен Омари, ровесник Дианы, и два молотка.

В очередной раз после обеда, когда бабушка с мамой мыли посуду, Диана снова заколачивала в дощечку гвозди (это было её тогдашнее увлечение), но уже не одна, а с Омари. Толстый крупный Омари отличался от Дианы не только габаритами, но и характером – спокойный, добродушный, улыбающийся, всегда всем и всеми довольный.

Мальши с увлечением перестукивались, что-то приговаривая, каждый на своём языке; по-русски Омари мог сказать только «да» и «нет»...

Перебив посуду, бабушка прилегла. Мама, по-русски, конечно, предложила детям прекратить стук, потому что бабушка отдыхает. Диана послушалась, а Омари то ли не понял, чего от него хотят, то ли, не успев в полной мере насладиться новой игрой, продолжал колотить молотком по дощечке.

Диана, решив по-своему воздействовать на неслуха, стала отнимать у него молоток (Омари был на голову выше её и, наверное, в два раза тяжелее). Добродушный крепыш счастливо улыбался и повторял: «*Нету, нету!*». Дианка зло передразнила: «*Нету, нету, грузин проклятый!*»...

Когда Омари пришла пора идти в школу, его забрали к себе родственники его мамы, жившие в собственном доме в Тбилиси – бездетная, хорошо обеспеченная пара. Мы с папой пару раз навещали Омари, но близко с ним я, увы, больше не общалась...

Помню, как я приехала в Грузию уже студенткой. Так случилось, что ни родителей, ни старших двоюродных братьев дома не было. Я решила пойти в кино на дневной сеанс. Стала переодеваться. Бабушка поинтересовалась, куда я собираюсь. Услышав ответ, запричитала: «*Как же ты пойдёшь одна? Подожди, вот Бичико придёт или Гурам. Нет, шени чире ме (дословно – твои болезни – мне), одну я тебя не могу отпустить*».

Воспитанная в совершенно других традициях, не доросшая до того, чтобы считаться с казавшимися мне «дикими» законами (девушке негоже появляться одной на улице или, тем более, в тёмном зале кинотеатра), я, свободолюбивая дурочка, считала смешным и недостойным считаться с глупыми пережитками. Вышла на пустынную в этот час улицу, окунулась в дрожащий от жары воздух и пошла к центру.

Через несколько метров что-то заставило меня обернуться. По другой стороне улицы, отставая от меня на пару метров, шла моя любимая бабушка. Я, упрямец, сделала вид, что не вижу её и пошла дальше.

Было очень жарко; я представила, как тяжело бабуле во всём чёрном и длинном, в чулках; поняла, что она не уйдет домой, а будет ждать меня возле кинотеатра, пока не закончится сеанс... Мне стало так стыдно... Я перешла улицу, вернулась и молча обняла свою добрую бабушку; она так же молча поцеловала мои волосы, погладила по щеке, по спине, и мы молча вернулись домой...

Нужно сказать, что, несмотря на мои довольно частые приезды в Грузию, я так и не смогла полностью принять многие национальные особенности отношений. Помню, как мы с Бичико, моим кузеном, который был на 10 лет старше, пошли в Хони в парк (официально город назывался именем революционера Цулукидзе, но жители называли его дореволюционным именем – «Хони»). Парк не большой, но в нём росли огромные старые деревья, кроны которых сплетались над аллеями, создавая в жаркие дни приятно-освежающую прохладу.

Гуляли, болтали, купили мороженое, сели на скамейку... Подошли несколько молодых ребят, поздоровались с Бичико, познакомились. Они, как и я – студенты. Завязалась оживлённая беседа; шутили, смеялись... Вдруг, совершенно неожиданно для меня, Бичи поспешно распрощался с ребятами, и мы ушли.

Я была и возмущена, и обижена до слёз, когда брат стал выговаривать мне, обвиняя в нескромном поведении с незнакомыми молодыми людьми...

Вышли из парка, нужно было по пути домой что-то купить. При входе в магазин сталкиваемся с каким-то усатым толстяком. Они с Бичико жмут друг другу руки, обнимаются, бурно демонстрируя радость встречи. Я, обиженная, стою чуть в стороне. Наконец Бичико представляет меня усачу, и тот с восторгом на меня набрасывается – тискает в объятьях, целует... Я в полном недоумении пытаюсь сопротивляться, но Бичи одёргивает меня: «*Прекрати! Это*

наш родственник!»... А я этого родственника первый раз в жизни видела и даже не подозревала о его существовании...

Бабушке было уже за 80, но она никогда не жаловалась на здоровье. Однажды я, уже будучи врачом, сама стала расспрашивать её, как она себя чувствует, может, я смогу чем-то помочь. Бабушка, светло улыбнувшись, ответила: *«Разве в моём возрасте можно жаловаться? Я ведь так долго живу. Всё у меня хорошо, лишь бы дети мои да внуки-правнуки были живы и здоровы».*

Бабушка до последних дней ходила своей неслышной походкой, всегда находила себе работу, всегда была чем-то занята. Я рада, что успела показать ей своих мальчиков. Как она была счастлива... И как жаль, что они были совсем маленькие и не помнят мою бабушку...

Я часто пыталась разговорить бабулю, мне было очень интересно узнать о том, каким был мой папа, когда был маленький, когда учился в институте. Но бабушка не любила много говорить (этим папа тоже был очень похож на неё).

Папины сёстры и братья в один голос утверждали, что Титико (это второе, домашнее имя моего папы Нико) был маминым любимцем и заслужил это своей добротой и мягким спокойным характером.

Когда я расспрашивала бабушку о войне, она говорила, что труднее всего была не скудная жизнь, а тревожное ожидание писем с фронта: её старшие сыновья (у бабушки было трое сыновей и две дочери) Володя и мой папа, были призваны в первые дни войны, через год ушёл на фронт добровольцем младший, Георгий. Бабуля считала себя самой счастливой на свете, *«потому что все трое вернулись живые и не покалеченные».*

При этом бабушка тяжело вздыхала, потому что Георгий (Чито – его домашнее имя), самый младший из пятерых и *«самый красивый из братьев»*, как считала моя мама, оказался слишком молод для жестоких испытаний; может, поэтому после войны так и не нашёл себя, запил...

Старший, Володя, прошёл войну в числе тех, про кого сложена известная песня: *«Мы вели машины, объезжая мины, по путям-дорогам фронтовым»*; баранку не бросил и после победы, был настоящим виртуозом в своём деле.

Папа в 1941 заканчивал Тбилисский медицинский институт. Весь выпуск, получив дипломы, не успев сдать последний госэкзамен, был отправлен на фронт. Из более 300 человек с войны вернулись шестеро... Поэтому я не удивилась, как мои однокурсники, когда в институте на занятиях по ВМП – военно-медицинской подготовке, мы узнали, что самый высокий процент погибших в годы Великой Отечественной был среди рядовых и офицеров медицинской службы.

Из обрывочных рассказов грузинских родственников я «сложила» не совсем целостную мозаичную картину жизни моей дорогой бабушки. Её девичья фамилия – Коркашвили, Коркашвили Зинаида Несторовна. Уже судя по фамилии, можно сказать, что она не принадлежала к столь знатному роду, как её муж, мой дедушка Симон Лордкипанидзе, чей княжеский род упоминается в летописях с 14 века. Но бабушка была очень красива, и это для влюблённого дедушки было, вероятно, достойной компенсацией. Хотя не исключено, что

родители бабушки были не беднее, чем многие князья, считавшие зазорным зарабатывать деньги. Правда, дедушка не был похож на обнищавшего князя Ваню Пантиашвили из спектакля «Ханума». Ему принадлежало богатое имение, виноградники, крестьяне, которые их обрабатывали, магазины с приказчиками, ещё что-то...

Дедушка, рассказывали, был типичный грузин – любил друзей, весёлое застолье, прекрасно пел, ездил верхом, охотился... Правда, он уже не мог себе позволить, как его отец (существует такая байка в нашей семье), выезжать в трёх экипажах: в одном, якобы, ехал сам князь, в другом – его шляпа, а в третьем – трость. Возвращался кутила домой, собрав по дороге и разместив в трёх экипажах своих приятелей для очередного пира.

Мой дедушка не дожил до тех времён, когда князей, не взирая на степень знатности, лишали движимого и недвижимого имущества. К концу 1917 года у них с бабушкой было уже четверо детей (четвёртый, мой папа, родился 1 ноября 1917 года, мы его называли «буревестником революции», хотя в Грузии советская власть установилась только в 1922). В 1921 году бабушка ждала пятого.

Дедушка, тогда ещё совсем молодой, уехал в соседнее селение на свадьбу. Естественно, верхом, естественно, с оружием. После обильного свадебного пира начались развлечения и турниры. Участникам одного из них следовало верхом подняться по лестнице на расположенную на уровне второго этажа террасу; победитель получал в награду платок, которым грациозно помахивала белоснежная невеста, подзадоривая гарцюющих внизу мужчин.

Дед, рассказывают, оказался более ловким, чем множество других претендентов, – он смог верхом взлететь на террасу и получить приз. Проигравшие соперники устроили стрельбу в честь победителя, который высоко вскинул руку с заветным платком. Лошадь, испугавшаяся криков и беспорядочной стрельбы, стала на дыбы; не удержавшись в седле, победитель упал к ногам побеждённых.

Бабушка рассказывала, что мужа привезли домой без сознания. Приехавший вместе с ним со свадьбы доктор и прибывшие вскоре коллеги ничем помочь не смогли. Судя по тому, что бабушка рассказывала, у дедушки, вероятнее всего, были множественные ушибы, внутреннее кровоизлияние. Через сутки его не стало.

Ко времени установления в Грузии советской власти бабушка осталась вдовой с пятью детьми. Какое-то время семья продолжала жить в деревне Чунеши, в имении, от которого им остался один лишь дом. Но поскольку там негде было работать, не на что растить детей, бабушка решила переехать в Хони.

Бабушка никогда не жаловалась, но можно представить, как тяжело ей было в те годы. Только двое из пятерых детей смогли получить высшее образование. Самая старшая – Тамара-мамида и мой папа.

Тётя Тамара закончила технический ВУЗ, работала инженером на шелкопрядильной фабрике. Я как-то напросилась посмотреть, как из коконов, которые я помогала выращивать, получается натуральный шёлк. Тётя провела меня по всей цепочке: в цеху, где коконы замачивали в химрастворе, чтобы «расклеить» тонюсенькие ниточки, я чуть не задохнулась от отвратительного непереносимого запаха; а там, где наматывали шёлковую нить на бабины, можно было оглохнуть от жуткого грохота огромных машин.

Из всех бабушкиных детей только Тамара, старшая, всегда помнила о своём княжеском происхождении, поскольку прожила в роли княжны достаточно долго: она родилась тоже

в революционный год, но двенадцатью годами раньше моего папы, в 1905; в 1922 она была взрослой 17-летней девушкой. Мамида, не давая себе труда скрывать это, пренебрежительно относилась ко многому и многим, была очень агрессивна, ни с кем не считалась, требовала от всех особого внимания к себе. Она могла обидеть кого угодно, даже бабушку, свою маму – тётю откровенно не нравилась её *«молчаливая покорность»*.

Мамида не скрывала досады на то, что её любимый брат, мой папа, женат не на грузинке, что мы с сестрой вышли замуж не в Грузии. Ей многое не нравилось, и она открыто и прямо, не заботясь о чувствах окружающих, заявляла об этом.

Помню, мы приехали с мужем и сыновьями. Старшему, Тимурику, было уже три с половиной. Травка во дворе была такая мягкая, Тимка снял сандалики и бегал босиком. Это «безобразие» узрела мамиди и подняла крик: *«Вай ме, хохлюшка! хохлюшка!»* (это слово в её исполнении на русском означало «невоспитанный, деревенщина»).

Благодаря Тамаре, слово «мамида» в нашей семье стало именем нарицательным. Так часто называют мою младшую сестру Диану, которая оказалась точной копией папиной старшей сестры: и рост, и фигура, и такая же «княгиня», и такая же бескомпромиссная, и такая же несдержанная на язык...

Помню, мы с сестрой навещали родных в Тбилиси в 2011 году. И когда Диана по какому-то поводу «завелась», одна из наших кузин вздохнула: *«Ну, точно мамиди!»*.

Естественно, мамиди очень любила Диану и часто приговаривала, трепля её за щеку: *«Ты мой души!»* (душа, значит), *ты мой жизнь!»*. Видя в ней своё отражение, она не только прощала сестрёнке все фокусы, не только потакала её капризам, но и провоцировала на неподобающие вещи.

Расскажу, например, как мы приходили с тётей в один из магазинов в Хони. Магазин был небольшой, вход – со срезанного угла здания. Напротив двери – прилавок, за прилавком единственный продавец – полноватый красавец-усач Карло. Мы втроём (тётя держала нас с сестрой за руки) входили и задерживались у входа. Если Карло не успевал нас заметить, тётя нетерпеливо-укоризненным властным тоном произносила: *«Ка-а-пло-о!»*.

Бедный Карло становился ниже ростом и поспешно выбегал из-за прилавка, не обращая внимания на других покупателей. Склонив голову, он приветствовал тётю, неизменно называя её «калбатано» – госпожа.

Тётя запускала Диану за прилавок к стеллажам (я тётю в этом не подчинялась, понимая, что это никуда не годится). Диана брала всё, что хотела, в основном – шоколад; что-то Карло заворачивал в пакет для тётю, угодливо раскланиваясь, провожал нас до двери. Тётя, не расплачиваясь, с видом благодетельницы удалялась с гордо поднятой головой.

Оказалось, этот Карло во времена оны служил в их доме; тётя не позволяла ему забыть об этом, а он почему-то подчинялся.

Так же вела себя ещё одна наша, правда, не кровная, родственница – свекровь другой нашей мамиды – Ксении, бабушка Ольга, в недалёком прошлом – княгиня Ольга Чиковани. Правда, у неё было больше оснований для подобного поведения. Род Чиковани в Грузии ещё более знаменит, когда-то они владели половиной Менгрелии. Один из наших ровесников Чиковани (не Котэ, единственный сын тётю Ксении, остальные 4 – девочки), а их двоюродный брат, хвастался, что у князей Чиковани было собственное «войско», охранявшее границы их владе-

ний, что они, якобы, не только никогда не платили дань русскому царю, но даже не позволяли сборщикам налогов проезжать через свои земли.

Бабушка Ольга жила с семьёй своего сына Николая, мужа тётки Ксении (мы все называли его домашним именем – Джаба) в горах, в селении Хунци. До революции там было поместье Чиковани. В описываемые времена дядя Джаба руководил там совхозом. Он закончил сельскохозяйственный институт, был очень предприимчивый человек – сумел построить небольшой завод в своём совхозе по переработке овощей и фруктов, заслужил звание Героя социалистического труда. Но главное – он был очень добрый и гостеприимный. Я помню, как летом за стол в его доме садились до двадцати человек почти ежедневно: братья и сёстры, племянники и племянницы с обеих сторон...

Бабушка Ольга, несмотря на преклонный возраст, пользовалась в семье непререкаемой властью. Проявление прекрасной традиции в Грузии – уважение к старшим, для тех, кто воспитан иначе, может показаться чрезмерным. Например, мы, дети, не могли уйти из дома, не получив разрешение бабушки (родители не в счёт). Трапеза не начиналась, пока бабушка не вышла к столу. Если бабушка задерживалась, к ней посылали Дареджан (младшую из детей). Если бабушка плохо себя чувствовала и хотела остаться в своей комнате, кто-то из внуков относил ей ужин (или обед) и оставался с ней. Только после этого все могли есть.

Бабушка Ольга посещала церковь. Она, как и бабушка Зина, носила траур и всегда ходила в чёрном. Когда шла в церковь, набрасывала на голову красивые чёрные кружева. Ходила она, тяжело опираясь на палку, но держалась, как царица. У церкви все перед ней расступались, мужчины снимали шапки (может, потому, что помнили её княгиней, а может, потому, что её сын был директором совхоза, где все они работали). Как-то, выходя из церкви, бабушка Ольга обратилась строгим голосом к тщедушному старичку: «*Что, в этом году неурожай?*».

К тому времени, как мы вернулись домой, у ворот стояла арба с арбузами и дынями (старик сторожил совхозную бахчу, но бабушка Ольга по-прежнему считала эти земли своими).

Ксения-мамида, папина вторая сестра, в замужестве Чиковани, была абсолютной противоположностью своей старшей сестры. Она была очень похожа на бабушку Зину, такая же тихая, спокойная, терпеливая и безмерно добрая. По-русски тётка Ксения почти не говорила, вела огромное деревенское хозяйство, принимая в своём доме каждое лето десятки гостей: в основном, многочисленных племянников и племянниц своих и мужа.

Какие это были времена! И где! Покрытые лесами горы, шумная и непокорная горная река Цхенисцхали, меняющая русло после таяния снегов в горах, поэтому через неё строят только подвесные лёгкие мостики. Когда мой муж впервые там оказался, он, очарованный, попросил ущипнуть его, чтобы убедиться, что эта красота ему не приснилась!..

Вода в реке такая холодная, что зубы сводит. Но зато в ней водится форель. И наши братья, а позднее – и мужья, с азартом ловили рыбу, забрасывая в воду сетки, похожие на корзины.

Помню, Котэ, ему было тогда лет 10, принёс с рыбалки несколько маленьких рыбёшек и стал просить свою маму пожарить их. Тётка Ксения была занята приготовлением обеда для всей оравы, ей было некогда и она отмахнулась от его просьб. Моя мама, видя, как Котэ расстроен, взялась пожарить мальков. Котэ был в восторге!

Усадьба была огромная, и чего там только не было! Бахча с медовыми арбузами, виноградник (и конечно же, море вина), персики, айва, груши, грецкие орехи и заросли фундука, кукуруза, которую мы, дети очень любили...

Куры разных пород. Были среди них такие, которых я называла про себя балеринами. У них были голые длинные розовые шейки с жабо из пёрышек, ниже – «балетные пачки», а на высоких ножках – пушистые «подвязки». Вечером эти экзотические курочки грациозно взлетали на облюбованное ими дерево и там спали до рассвета.

Кстати, там, в деревне, я впервые подвергла сомнению версию о полигамности птиц и животных. Хочу заметить, что я с детства не любила шумные игры, беготню. Меня не привлекали ни прятки, ни догонялки всякие, да я и бегать не умела... Устраивалась обычно где-нибудь в тени и читала, или просто наблюдала за тем, что происходит вокруг.

В хозяйстве среди прочей многочисленной живности были утки. Они всегда прогуливались парами – невзрачная серенькая уточка и рядом, поблёскивая изумрудно-зелёными пёрышками на головке, яркий и красивый селезень.

Так случилось, что одна уточка осталась без партнёра (хорёк или лиса его утащили, наверное). И вот наблюдаю я такую сцену: один из селезней, оставив свою подружку, решительно направился к одинокой уточке. Та, разгадав его намерения, стала поспешно удаляться. Он был настойчив, и, издав воинственный клич, ускорил наступление. Уточка взмахнула подрезанными крыльями и с истошным криком побежала прочь. Нет, это не была предварительная игра, она убегала, спасалась, она хранила верность!..

Вспомнила по ассоциации неприятную для меня историю с гусями. Это случилось гораздо позже, я тогда уже была студенткой, лет 19 мне было. Я приехала к тёте Ксении, когда там собралась большая компания: кроме пятерых детей хозяев многочисленные племянники со стороны Чиковани. Обязательных занятий у нас не было. Несколько раз, по моей просьбе, мы с сёстрами ходили на совхозные чайные плантации собирать чай. Взрослые считали, что мы так устали от учёбы, что просто обязаны отдыхать...

Как-то, не зная, чем заняться, решили пострелять – в доме была малокалиберная винтовка. Мы ушли далеко от дома, установили жестяные банки вместо мишеней и начали соревнование. Один из Чиковани, Гия, особенно старался, он всегда хотел во всём быть первым. Стрелял он не плохо, но оказалось, что я – лучше. Дело в том, что в школе, освобождённая от уроков физкультуры, я ходила с мальчишками в тир, когда у них были занятия по военному делу. Учились мы в военном гарнизоне, так что проблем с тренерами по стрельбе, с оружием и тирами у нас не было. Я так преуспела в этом единственно доступном для меня виде спорта, что даже ездила на соревнования, получала какие-то награды...

Гия, конечно же, не мог знать об этом и очень смутился. Пытаясь скрыть огорчение, стал рассуждать о том, что вот, если бы были движущиеся мишени, вот тогда... Мы как раз подходили к соседской усадьбе. На лужке паслись чужие гуси. Конечно, они не летели, но всё-таки двигались... Кто-то из ребят подзадорил Гию: вот и движущаяся мишень. Гия промазал и передал мне винтовку. Захваченная азартом, не думая о последствиях, я выстрелила, и большой белоснежный гусь опрокинулся лапками кверху. Пуля попала ему прямо в голову. Это был один из нескольких случаев в моей жизни, когда победа не принесла радости, оказавшись чрезмерно горькой...

Часто вспоминаю тётю Ксению и дядю Джабу с огромной благодарностью за их безмерную доброту и гостеприимство. Разве могу забыть, как они приехали с экскурсионной группой в Ленинград, где были всего пару дней. Я тогда училась на третьем курсе и жила в общежитии.

Мои дорогие тётя с дядей выкроили время, поздно вечером приехали ко мне на Выборгскую сторону, я так рада была их видеть!..

А после их ухода обнаружила в своём кармане 50-рублёвую купюру. Это было целое состояние! – моя повышенная стипендия составляла 22 рубля, а минимальная зарплата в СССР – 47 рублей 50 копеек.

Мои соседки по комнате, зная, какая я транжира, раздобыли для меня у девочки со старшего курса талон в «свадебный магазин «Весна», где я купила красивую чёрную немецкую комбинацию и шерстяную тоненькую, тоже чёрную, кофточку с длинными рукавами, которые служили мне верой и правдой ещё несколько лет после окончания института.

Пару лет назад вспомнила тётю Ксению в связи с другой ситуацией. В мае 2015 года я полетела в Нью-Йорк, и не столько для того, чтобы познакомиться со Штатами, сколько для свидания с уехавшими родственниками и друзьями.

Была в гостях у сына моего любимого кузена Гурама (сына дяди Володи). Ачико, которого я видела впервые, как и его покойный отец – профессиональный спортсмен, тренер по фехтованию, очень похож на Гурама. Арчил женат на очаровательной грузинке, у них два замечательных сына.

Мальчишки, которые ни слова не знают по-русски, смущённо улыбались, не понимая ни слова из того, что я приговаривала по-русски, обнимая и целуя их. А я вдруг, как-то сразу, одновременно пережила и то, что чувствовала Ксения-мамида, говорившая только по-грузински; и, в то же время, ощутила себя маленькой девочкой, которая так же смущалась, когда её обнимала и целовала добрая тётя Ксения, ласково произносившая непонятные слова...

Оба моих дяди – Володя, который был старше папы, и Георгий – младший, шоферили, оба были женаты на Тамарах, у обоих было по одному сыну. Дядя Георгий, самый младший, умер первым. Он много пил, я хорошо помню, какое страдание было на лице у папы, и как безуспешно пыталась удержать слёзы бабушка, когда речь заходила о Георгии.

Дядя Володя был очень весёлый, добрый, любил подшучивать, подначивать. Почему-то врезался в память и показался мне, девятилетней, очень смешным его комплимент жене... Мы тогда жили в Харькове. Дядя Володя с тётей Тамарой приехали повидаться. Привезли вино, чачу, сулгуни, чурчхелу, которую я очень люблю, фрукты. Сидели за празднично накрытым вкусным столом. Вдруг погас свет. Разговаривали, папа с дядей Володей и тётей Тамарой очень красиво пели. И вот тогда, в темноте, дядя Володя любовно-насмешливо произнёс: *«Жёнушка, какая же ты у меня красивая!»*...

Тамара-бицола была действительно очень красивая: белокожая, соблазнительно-женственная, с огромными жгуче-чёрными глазами, густящими чёрными кудрями, собранными на затылке в тяжёлый узел, вынуждающий гордо вскидывать голову. У неё были по девичьи яркие пухлые губы, белоснежная улыбка. Соперничать с ней смогла бы, пожалуй, только Мэри – жена Бичико, сына Тамары-Мамиды, которая появилась в нашей семье гораздо позже.

Больше жизни Тамара-бицола любила своего единственного сына Гурама. Гурам был похож на мать и был так же красив. Их отношения вызывали у меня, которую мама всегда держала в довольно жёстких рамках, недоумение и зависть. Невозможно забыть, как бицола

с перевязанной полотенцем головой (у неё часто случались головные боли) и со вторым полотенцем в руке бегают за сыном вокруг круглого стола, стоящего посередине комнаты (Гураму тогда было лет 14, а мне – 10). Гурам в очередной раз что-то натворил, и тётя пытается ударить его полотенцем. Бегая, они темпераментно спорят: тётя грозит, что на этот раз ему не отвертеться, а Гурам убеждает её в своей невинности и беззаветной любви. Убедившись в тщетности своих усилий, тётя снимает с ноги мягкий тапок и запускает им в Гурама; тот ловко ловит тапок и дразнит мать, предлагая бросить второй...

В конце концов, запыхавшаяся раскрасневшаяся бицола в изнеможении падает на диван, обмахиваясь орудием несостоявшегося наказания. Гурам с видом невинного агнца пристраивается рядом – начинается сцена примирения. Сын, отобрав у матери полотенце, заботливо обмахивает её разгорячённое лицо, заученно просит прощения, клянётся в любви и преданности. Растроганная мать, глядя на недоросля влюблёнными глазами, ещё пытается что-то выговорить ему, но её голос становится всё более ласковым, её руки уже обнимают красавчика, глядят его волосы, спину; ещё несколько минут – и любимчик будет увёртываться от её поцелуев...

С небольшими вариациями эта сцена повторялась почти ежедневно.

Всепрощающая материнская любовь Тамары-бицолы не угасла со временем... Эту историю, случившуюся через много лет, я знаю со слов: жена Гурама пришла к Тамаре пожаловаться на изменника-мужа в надежде на то, что свекровь постарается образумить своего непутёвого сына. Выслушав жалобы и упрёки невестки, Тамара-бицола, не проявив ни малейшего сочувствия, с присущими ей простодушием и искренностью предложила невестке подумать над тем, чем та не угодила мужу, раз Гурам предпочитает ей других женщин...

Мы с Гурамом симпатизировали друг другу. Он казался мне идеалом мужской красоты. Я мечтала назвать его именем своего сына. Не знаю, о чём мечтал Гурам, но помню, когда ему было 15, а мне 11, мы приехали в Грузию и остановились у дяди Володи (они тогда жили ещё в Хони). Гурам в это время был в пионерском лагере, где-то в горах. Через пару дней, в родительский день дядя Володя с тётей Тамарой поехали его навестить. Понимая, что Гурам не захочет оставаться в лагере, они решили сохранить в тайне наш приезд – смена в лагере всего неделю как началась.

Но Гураму сообщили об этом другие ребята из Хони, которых тоже навестили родители (для соседей и знакомых в маленьком городке приезд нашего семейства был неким событием, потому что папу все знали, уважали – военный врач, подполковник)...

Ночью, когда все спали, Гурам тайком ушёл из лагеря. Босиком, в трусах и майке, он под утро явился домой посиневший от холода, с разбитыми в кровь ногами.

Взрослые подшучивали, что он совершил этот подвиг ради меня.

У Гурама было не только красивое лицо, он был прекрасно сложен, занимался фехтованием, короче – неотразим. Какую гордость я испытывала, когда на Универсиаде в Бразилии он стал чемпионом! Как завидовали мне мои школьные подружки!

Когда я училась в Ленинграде, он несколько раз приезжал на сборы и соревнования в составе команды по фехтованию (его оружием была сабля). Эти дни становились для меня незабываемым праздником. Я жила, как все бедные студенты, а у Гурама всегда были деньги. Он дарил мне цветы (тогда это было не так просто, как сейчас), водил в лучшие кафе, рестораны.

Помню, я сказала, что люблю пирожные. Мы пошли в знаменитое в Питере кафе «Север» на Невском. Гурам заказал по паре всех пирожных, какие были, – больше дюжины. Я, конечно же, не смогла съесть больше двух. А он, поедая остальные, откусывая сразу по половине, посмеиваясь, приговаривал: *«Не понимаю, кто это так любит пирожные?!»*.

Прекрасно помню, как Гурам выступил в роли моего психотерапевта. Дело в том, что у меня довольно большой толстый нос. Нет, мне это не кажется, это действительно так. Мои однокурсники (когда мы начали изучать анатомию) по этому поводу шутили: *«У Людмилы нос – не часть лица, а часть тела»*.

Как-то в очередной приезд кузена мы ужинали в ресторане, Гурам пригласил меня танцевать. О чём-то говорили. Мне было так хорошо! Вдруг он наклонился и тихонько, на ухо спросил: *«Людочка, почему у тебя такой большой нос?»*. Мне поплохело, я почувствовала, что залилась краской... А он отстранился, оценил мою реакцию и произнёс во второе ухо: *«Дурочка, зачем ты смущаешься, ты очень красивая; нужно отвечать – потому что я грузинка!»*.

Не могу сказать, что я комплексовала по поводу своей внешности, но после его слов я стала относиться к своему носу с гораздо большей любовью...

Могу признаться, что в то время мне нередко бывало грустно от того, что Гурам мой брат, и неловко за чувства, которые он пробуждал во мне...

Вспомнилась ещё одна ситуация, связанная с дядей Володи. Я была уже студенткой, мы с папой приехали вдвоём в Тбилиси. Дядя Володя с тётёй Тамарой жили в старом районе, над Курой. Гурам был тогда на очередных соревнованиях. Сели вчетвером ужинать. Конечно же, пили вино.

А я, нехстати, тяжело, как обычно, переживала «критические дни». Сидела за столом из вежливости, стараясь не портить вечер, но всё-таки была вынуждена отказаться от очередного бокала вина. Дядя Володя, привыкший к тому, что я обычно пью вино с удовольствием, стал настаивать и подсмеиваться надо мной, сказал что-то вроде: *«Учишься в Ленинграде, а изображаешь из себя парижанку»...*

Мне было физически так плохо и так почему-то стало обидно, что я, неожиданно для себя, расплакалась. Тамара-бицола, плохо знавшая русский, увидев мои слёзы после замечания мужа, набросилась на дядю Володю с упрёками и вдруг сама так разрыдалась, что мы потом все вместе еле её успокоили. Закончилось тем, что лили слёзы все четверо, теперь уже от смеха.

Рассказ о застолье, о вине вызвал воспоминание о том, как я впервые опьянела. И конечно же, это могло случиться только в Грузии, и, конечно же, отнюдь не во время застолья.

Мне было тогда 19. Отдыхали в Хунци. Август. Нужно было освободить бочки, хранящиеся в подвале, от молодого годовалого вина, чтобы заполнить их свежим вином нового урожая. Бочки большущие, 300-400-литровые. Вино из них ведрами выносили наши братья наверх и выливали в кевври – такие же огромные глиняные ёмкости, врытые в землю. Из кевври, как из колодца, это ординарное столовое вино набирают и подают к столу ежедневно. Наливают в пористые глиняные кувшины, в которых оно долго остаётся охлаждённым.

Мы с моей кузиной Нателлой, она старше меня года на 3—4, сидели на низких скамеечках возле бочки и наливали вино через резиновый шланг из бочки в ведра. Вино в тот раз было белое, лёгкое, как шампанское...

Когда мальчишки задерживались, мы пробовали вино маленькими стаканчиками – очень вкусное! Иногда, скорее, – часто, в шланг попадал воздух, и тогда приходилось вино подсасывать...

Когда бочка почти опустела, парни должны были перевернуть её, чтобы вылить остатки вина. А мы с Дадуней (это домашнее имя Нателлы) должны были встать со своих скамеечек...

Я чувствовала себя превосходно. Но встать не смогла: вернее – попыталась, но, если бы Бичико не подхватил меня, упала бы. Я всё хорошо помню до сих пор: голова, как мне казалось, всё понимала, а тело не слушалось.

Бичико вынес меня из подвала и положил на тахту на веранде. Состояние моё меня забавляло: в глазах двоилось, руки и ноги – будто не мои... Очень скоро я уснула и проспала несколько часов до самого ужина. Но и к ужину не протрезвела. Проснулась от голода и звона посуды. Возмутилась, что сели ужинать без меня; переодеваясь к столу, платье (как поняла позже) надела наизнанку и подошла к столу нетвёрдой походкой (мне рассказали об этом тоже позднее) ... От смущения спасало опьянение. В себя пришла только после плотного ужина и крепкого чая...

С Бичико, о котором я упомянула, я общалась гораздо чаще, чем с другими двоюродными братьями и сёстрами. Бичи, сын Тамары-мамиды, был единственным и столь же обожаемым матерью, как Гурам. Но их отношения были иными, потому что и их мам объединяло только одинаковое имя, и сами кузены были совершенно разными.

О Бичико можно было бы написать роман, герой которого – Остап Бендер, граф Монте Кристо и Казанова в одном лице.

Рос Бичи без отца. Его отец, Варлаам Силагава, был репрессирован в тридцатые годы вскоре после рождения сына в 1934 году, и только через много лет – реабилитирован. Не знаю точно, в нашей семье при детях такие вещи не обсуждались, но за годы ссылки отец Бичико то ли обзавёлся другой семьёй, то ли просто «завёл» на время другую женщину, чего тётя Тамара ему не простила...

Мамида назвала сына в честь мужа Варлаамом, Бичико – его домашнее имя. Поскольку «*Бичико бедный*» рос без отца, его баловали не только мать и бабушка, но и все другие родственники со стороны обоих родителей. Даже в школу тётя Тамара отдала сына на пару лет позже, считая, что в 7 лет ребёнок слишком мал, чтобы каждый день вставать так рано.

Закончив школу с золотой медалью, Бичико решил учиться за пределами Грузии (это всегда было престижно, да и чрезмерная опека матери ему к 19 годам явно надоела). Мой папа служил тогда в Харькове, там Бичико и поступил в строительный институт на архитектурное отделение. Папа снял для него и оплачивал комнату в частном доме у хорошей хозяйки (мы тогда вчетвером размещались в одной комнате в коммунальной квартире). Конечно же, Бичико очень часто бывал у нас.

На мой взгляд, Бичи не был так красив ни лицом, ни телом, как Гурам, и спортом никогда не занимался. Но он в огромной мере обладал качеством, которое сейчас используют слишком часто и не всегда к месту – «сексапильность». Бичико буквально излучал, источал сексуальную энергию и, не сублимируя, использовал её по прямому назначению.

Через год после того, как наш Дон-Жуан начал учиться в Харьковском институте, мы переехали из Харькова в военный гарнизон Скоморохи, недалеко от Житомира, куда перевели папу. Бичико пару раз приезжал к нам в гости, но родители были вынуждены через несколько

дней отправлять его восвояси. Почему? В это трудно поверить, но изнывавшие от безделья и отсутствия ярких впечатлений гарнизонные дамочки буквально сходили с ума при виде нашего гостя. Дверь квартиры не закрывалась: всем хозяйкам вдруг срочно требовались соль или сахар, дуршлаг или какой-то рецепт, или возникала необходимость безотлагательно что-то уточнить, о чём-то спросить, рассказать...

Когда мы выходили с братом прогуляться по гарнизонному «Бродвею» – асфальтированной дорожке, идущей от КПП к Дому офицеров, встречающие женщины краснели, бледнели, роняли (конечно же, специально) ключи, платочки, сумочки... А после нашего с ним единственного похода в кино Бичико вышел из зала с парой записочек с назначенными свиданиями...

Но это всё не сказка, а присказка; цветочки, а не ягодки.

Однажды пришла телеграмма от его квартирной хозяйки: *«Срочно выезжайте Бичико тяжело болен»*. Естественно, папа тут же выехал. Вернулся он через несколько дней похуевший и почерневший вместе с несколько растерянным, но неунывающим «тяжелобольным». Мне, тринадцатилетней, была предъявлена какая-то невразумительная версия... Правда открылась для меня гораздо позже.

Обладая описанными выше особенностями и наклонностями и, главное, – имея достаточное количество денег, Бичико стал «своим» среди харьковской золотой молодежи. Он оказался членом клуба «Голубая лошадь», о котором теперь можно прочитать в интернете: *«КГБ Украины преподнёс широкой общественности разгром этой неформальной организации как крупную победу в борьбе с происками буржуазного Запада»*.

Как пишут там же сегодня, этот клуб «крышевали» и милиция, и КГБ, собирая компромат на прокурора, секретарей обкома, хозяйственников, которые были уверены, что способны сохранить свои подпольные развлечения в тайне. Главным «развлечением» был секс, соперничавший с Камасутрой...

По неофициальной версии, КГБ пришлось раскрыть тайну в связи с тем, что в игрищах пострадала несовершеннолетняя девушка, и это не удалось скрыть...

Так или иначе, начались аресты, среди задержанных – наш Бичико. Когда я стала старше, он рассказывал мне, как это произошло: он вошёл в ювелирный магазин, к нему сзади подошли двое в штатском, и, взяв под локти, спокойно попросили пройти с ними. Бичи рассказывал об этом с восторженно-горящими глазами: *«Представляешь, арестовали, как разведчика в кино! Я сначала подумал, что они меня с кем-то перепутали»*.

Усугубляющим вину обстоятельством был признан факт намеренного сокрытия нашим Казановой своего имени. В качестве доказательства предъявлялись его фотографии (это уже папа потом рассказывал), подаренные многочисленным красоткам и подписанные разными именами: «Бичико, Бичи, Варлаам, Валико, Валентин, Валет». Пришлось папе объяснять правомерность всех имён своего непутёвого племянника.

Официальное имя нашего «героя» – Варлаам; Бичико, Бичи – домашнее имя. Но «бичико» по-грузински – просто «мальчик», а «Варлаам» – слишком помпезно для юноши, поэтому грузинские друзья называли его «Валико», и некоторым девушкам он так и представлялся. А когда ему хотелось, чтобы его имя звучало по-русски, называл себя «Валентин», ну, а если возникало желание выглядеть совсем загадочным, тогда – «Валет», как его называли некоторые «в узком кругу»...

Короче, какие ещё аргументы приводил мой папа, не знаю, но от суда незадачливого «всадника Голубой лошади» он спас.

А вот отчисления из института избежать не удалось. Причём, исключили его с «волчьим билетом», то есть, без права поступления в любой другой ВУЗ. Лишь несколько лет спустя удалось через министерство высшего образования получить для него разрешение на обуче-

ние, но исключительно на территории Грузии. Бичико закончил Тбилисский технологический институт по специальности «технология бродильных производств и виноделие».

Помню, когда я уже была студенткой, Бичи, вероятно, в воспитательных целях, рассказал мне ещё одну историю, которая случилась с ним в годы учёбы в Харькове. Будучи членом весьма нетрадиционного клуба (см. выше), он в то же время искал любви и серьёзных отношений, хотел жениться. Встречался со студенткой медицинского института, из *«очень хорошей семьи»*...

Нужно заметить, что в Грузии явно доминирует двойная половая мораль, согласно которой девушка до брака должна оставаться «нецелованной девственницей», а юношам, как и женатым мужчинам, дозволено всё. Вот как объяснял это неравноправие Бичико: *«Девушку, на которой собираешься жениться, нужно уважать, это во-первых; а во-вторых, её не следует развращать: жена должна быть довольна тем, что предлагает ей муж, и ни в коем случае не желать большего»*.

Уверенный в том, что данный принцип известен заинтересовавшей его украинке «из хорошей семьи», отъявленный сердцеед начал свои ухаживания: приглашал избранницу в театр, в кино, гулял с ней по паркам, водил в кафе и рестораны; проводив до дома, нежно прикасался губами к щёчке – и только...

Отношения развивались достаточно быстро и привели к знакомству с родителями девушки. Бичико продолжал ухаживания, и, всерьёз подумывая о женитьбе, полагал, что этому может помешать лишь его мама – не ставшая княгиней, но помнившая себя княжной, мамида вряд ли обрадовалась бы невестке-«хохлошке»...

Однако препятствие возникло совсем с другой стороны: как рассказывал Бичико, юная дева начала всячески провоцировать своего кавалера на более страстные проявления чувств (представляю, сколь искреннее недоумевала «дозріла закохана дівчина», которую вряд ли удовлетворяло сверхскромное поведение взрослого кавалера)...

Глубокое расхождение во взглядах на добрачные отношения привело к разрыву с последствиями, как всегда, более тяжёлыми для представительницы слабого пола.

Бичи не считал себя виноватым: *«Я хотел жениться на скромной порядочной девочке, а она стала приставать ко мне; однажды даже сказала, что, по-видимому, ошибалась, считая, что грузины – темпераментные мужчины. Она мне очень нравилась, мне не хотелось в ней разочаровываться. Но она продолжала меня провоцировать... Тогда я решил объяснить ей, что зря она сомневается во мне, сказал, что я настолько опытный любовник, что могу раздеть женщину так, что та этого даже не успеет заметить. Я давал ей шанс... Но она захотела убедиться в этом... Ей понравилось, а я после этого не хотел её больше видеть, мне было очень обидно... А потом её папа-генерал ещё и угрожал мне... Но меня и без него отчислили...»*

Представьте, как свирепствовал мой брат, когда через пару лет я, находясь в то время в Грузии во время летних каникул, получила телеграмму от Чапа: *«Люблю. Скучаю. Целую»*. Я думала, Бичи лопнет от злости! И не помогали мои объяснения, что поцелуями ограничиваются наши отношения. Он возмущался, ругался, грозился *«оторвать ноги этому негодяю»*, а меня *«посадить под замок»*...

Потом состоялся разговор с кузинами, которые, правда, реагировали не столь бурно, но всё же высказали недоумение, когда я призналась, что телеграмма от того, кого я люблю,

и за кого хочу выйти замуж. Старшие сёстры пытались убедить меня в том, что замуж нужно выходить за того, кого выберут родители, потому что *«они взрослые, разумные и опытные, они знают жизнь, они предварительно узнают, из какой семьи этот человек, здоров ли... а мы ведь так легко можем ошибиться...»*.

О «подвигах» Бичико в роли сердцеда можно рассказывать бесконечно – они неисчислимы. Сколько неприятных минут пришлось из-за его походов пережить моим родителям, у которых Бичико подолгу жил, когда папа служил в Днепропетровске. Повод был всё тот же – женщины. Кстати, Бичико утверждал, что украинки – лучшие...

Однажды к нам домой пришла довольно молодая женщина с требованием, чтобы Бичико женился на её 16-летней дочери. Наш рыцарь, оказывается, *«соблазнил невинную девочку, которая его безумно полюбила, а он её, невинную голубку, обесчестил и был таков»* (согласно закону Украинской ССР девушкам разрешалось вступать в брак с 16).

Бичико в то время не было в Днепропетровске. Пришлось моим родителям убеждать женщину, что брак с ветреником, которому уже под сорок, не принесёт счастья её скороспелой девочке.

Однажды этот обалдуй завёл интрижку с замужней женщиной и назвался папиным именем. Замужество очередной Коломбины, по мнению Бичико, освобождало его от нежелательных обязательств. Увы, гарантия не сработала. Обуянная страстью неверная жена ради новой любви рассталась с мужем; а Бичи, узнав об этом, бесследно исчез. Не в силах расстаться с мечтой о совместной жизни с возлюбленным, потерявшая голову дама сообразила обратиться в адресный стол и заявила в поисках пропажи в дом к моим родителям.

А теперь сцена для трагикомедии.

Представьте женщину 45 лет, приятную во всех отношениях, безупречную жену и хозяйку дома – мою маму, которой заявившаяся в дом незнакомая молодая особа без тени смущения заявляет о любовной связи с Николаем Семёновичем Лордкипанидзе (моим папой), ради которого она развелась со своим мужем.

Вообразите состояние моего папы, когда, вернувшись со службы, он застал дома едва сдерживающую гнев жену и незнакомую, сгорающую от страсти и нетерпения красотку.

Оцените степень недоумения и разочарования влюблённой женщины, с нетерпением ожидающей долгожданной встречи с предметом страсти, когда оказалось, что истинный обладатель заветного имени почти на 20 лет старше её совсем не юного любовника и напоминает изменника лишь формой носа и грузинским акцентом...

Папе для подтверждения собственного имени пришлось предъявлять и без того свихнувшейся дамочке своё удостоверение личности; для опознания сексуального афериста – фотографии Бичико; да ещё и маму, несмотря на очевидность происходящего, убеждать в своей абсолютной непричастности к любовному роману племянника с трагикомическими последствиями...

Мама от «подвигов» Бичико просто с ума сходила. А папа считал себя обязанным терпеть выходки сына своей старшей сестры, *«бедного мальчика, выросшего без отца»*.

Долгие годы меня удивляло и порой даже раздражало папино отношение к Бичико. И только теперь, кажется, поняла: ведь мой любимый папа сам вырос без отца и наверняка глубоко страдал от этого...

Общение с женщинами вне Грузии привело Бичико к выводу, что все «русские» женщины (то есть, не грузинки) – легко доступны. Дискуссия на эту тему состоялась между нами, когда у меня уже были дети, а Бичико, хотя он на 10 лет меня старше, всё ещё не был женат. Я пыталась с ним спорить, объясняя его вывод тем, что он основан на общении с женщинами определённого круга. Настаивая на своём, Бичико предложил мне убедиться в его правоте.

Я тогда прилетела в Днепрпетровск одна, ко дню рождения мамы, дети с мужем остались в Новгороде. В это время Бичико жил у моих родителей. Почему? Потому что у него никогда не было работы в общепринятом смысле слова, он «делал деньги», причём, не всегда законным образом. На Украине это было сделать легче, потому что размеры взяток, как он объяснял, были гораздо меньше, чем в Грузии.

Так вот, мы были дома вдвоём. Опровергая мои аргументы, Бичи спросил: «Ну, а женщина-врач, по-твоему, другого круга?». Легко догадаться, что я, наивная, ответила. Бичико подал мне телефон и «для чистоты эксперимента» предложил позвонить в стоматологическую поликлинику, где в регистратуре работала моя мама. Я набрала номер и попросила пригласить к телефону заведующую отделением такую-то...

Брат забрал у меня трубку и включил громкую связь. Женщина на другом конце провода официально представилась. Бичико назвал себя, и я услышала мигом растаявший млеющий голос, глупое хихиканье и сбивчиво-смущённые ответы на пошлые, совершенно дурацкие комплименты и намёки моего кузена... Мне стало так тошно, что я нажала на рычаг и прекратила разговор...

Чтобы добить меня, ловелас рассказал, что пришёл он как-то к «тёте Лизе» (так он называл мою маму) на работу, потому что забыл дома ключи от квартиры, а эта докторша сама подошла к нему, познакомилась, а потом сама позвонила... «*Не могу же я отказать женщине!*».

Ещё позднее, из рассказов сестры узнала, со сколькими её однокурсницами был близок наш любвеобильный братец.

При всём при этом, следует отметить «порядочность» Бичико: он долго не женился, объясняя это своей неготовностью к моногамным отношениям и нежеланием в связи с этим делать несчастной свою будущую жену. Готовность наступила лишь к 40 годам, когда он встретил красавицу Мэри. И полетели в тартарары его убеждения и рассуждения о целомудренности будущей жены: у Мэри был сын от первого брака. В 42 Бичико стал отцом.

Так сложилось, что я познакомилась с Мэри накануне рождения их сынишки Датико (Давида), потом видела Датошку, когда ему было 3 года, а осенью 2011 – уже женатого Дато.

Запомнилось поведение трёхлетнего мальчугана, когда Бичи с семьёй гостил у моих родителей в Днепрпетровске. Удивительно быстро малыш разобрался в том, что с дедушкой Нико (моим папой) можно говорить по-грузински, а вот с бабушкой Лизой (моей мамой) – только по-русски. Интересно было видеть, как Датико подходил то к одному, то к другому, меняя язык; было очевидно, что он воспринимает эту ситуацию, как игру, и получает от неё удовольствие.

К 2011 Бичико уже не было с нами. Дато внешне очень похож на отца, но, в отличие от Бичико, скромный, спокойный, скорее стеснительный... А вот Леван, старший сын Мэри, – красавчик, как мать, а по повадкам – вылитый Бичи!

Мэри всё так же хороша – очень красивая женщина! – наглядный пример удачного кровосмешения: отец – грузин, а мать – украинка (из тех украинцев, которые в тридцатые годы нашли в Грузии спасение от голода). С огромными, как у лани карими глазами, белокожая, с прямым красивым носом, замечательной формой губ, белоснежными зубами, прекрасно сло-

женная, в молодости Мэри могла бы соперничать с самыми знаменитыми киношными красавицами!..

О Бичико часто вспоминает моя питерская подруга Светлана. С моим кузенком она познакомилась в Питере, на свадьбе моего младшего брата. В связи с некоторыми обстоятельствами свадьба не была пышной: со стороны невесты – родители, супружеская пара близких друзей родителей и семья брата матери невесты; сторону жениха представляли наши родители, мы с мужем, наши друзья – однокашники – Светлана с мужем и Бичико. Бичико приехал на своей «Волге» из Тбилиси, загрузившись парой ящиков настоящего «Киндзмараули».

Бичико сразил Светлану с первого взгляда: «Волга», «как денди лондонский одет», галантный и неотразимо привлекательный... Отведав настоящего вина, Светка приобрела возможность продемонстрировать своё опьянение и пела искренние дифирамбы «Киндзмараули», который перевернул её представление о сухих винах.

После свадебного ужина, довольно скучного в компании «стариков», мы спустились на улицу, дело было летом, «покурить» (никто из нас не курил). Дышали относительно свежим Ленинградским воздухом, болтали...

Вдруг Бичико остановил проезжавшее мимо такси с зелёным огоньком. Шофёр, не выходя из машины, услужливо открыл для уважаемого джентльмена пассажирскую дверь. Но Бичико хотел, чтобы мы поехали все вместе; куда? неважно! куда-нибудь...

Вспомнилась ситуация из студенческих времён, когда в таком же количестве хотел сесть в такси Мишка Порфирьев. Ситуация повторилась: Бичи царским жестом вручил водителю красненькую купюру (он специально менял деньги на новенькие сотенные, считая это особым шиком), сел с ним рядом, а мы четвером разместились на заднем сидении.

Советская власть не поощряла ночную жизнь, ночью следовало набираться сил для свершения трудовых подвигов, посему рестораны закрывались рано, а о ночных клубах мы и слыхом не слыхали. Несколько дольше работал общепит в гостиницах для интуристов. Бичи велел ехать в гостиницу «Ленинград» на Пироговской набережной – самой «крутой» в далёком 1979 году (в этой гостинице проводился шахматный матч за мировую корону между Каспаровым и Карповым; именно в этой гостинице в 1991 случился пожар, причины которого и поныне до конца не известны; в тот день в этой гостинице жила Марина Влади, которую спас пожарный).

Несмотря на наши возражения, ведь мы были сыты, Бичико направился прямо ко входу в ресторан. Естественно, ресторан был закрыт, о чём нам сурово сообщил стоявший в дверях швейцар. Сотенка как нельзя лучше подошла к замку, и мы вошли.

Выскочил официант, готовый, судя по зверской физиономии, обрушить на непрошенных гостей весь запас бранных слов. Хрустящая бумажка с портретом вождя мирового пролетариата магическим образом превратила разъярённого дворнягу в умильно виляющего хвостом циркового пуделя. Как по мановению волшебной палочки он стал до противности заискивающе улыбаясь, извиняться, что кухня уже закрыта, поэтому предложить нам горячее он, к большому сожалению, не сможет... Всё это он лопотал, провожая нас к столу, застилая свежую белоснежную скатерть.

Меня кузен не удивил, но представьте изумление Светланы! Стол был вмиг уставлен посудой, и полусогнутый халдей с перекинутой через руку салфеткой приготовился принять заказ. Конечно же, Бичи заказал шампанское и икру. «Красную или чёрную?». «И красную, и чёрную». «Сколько изволите?» «Сколько? Ну, по вазочке, чтобы красиво было!»... Заказал ещё и мороженое, и фрукты, еле его остановили.

Во всё время нашего застолья угодливый пудель стоял в углу на задних лапах, не сводя преданного взгляда с Бичико и вызывая во мне брезгливое чувство омерзения.

Было ужасно обидно уходить, оставив икру почти нетронутой – после свадебного застолья мы не смогли съесть больше, чем по бутерброду.

На этом демонстрация *dolche vita* не закончилась. На площадке перед отелем оказался туристический автобус, который, видимо, привёз и выгрузил гостей, прибывших ночным рейсом. Шофёр собирался выйти, когда его остановил мой хвастливо-расточительный кузен – ему пришлось в голову покататься по ночному городу. Привычным жестом фокусника он достал из внутреннего кармана отмычку («ключ», открывающий любой замок) и мы расселись в пустом автобусе. Шофёру было велено прокатиться по самым красивым местам.

Светлана пребывала в трансе от происходящего. Гарцующий перед новой знакомой фанфарон, наслаждаясь произведенным эффектом, спросил: *«Чего бы Вам ещё хотелось, девочки?»*. Светка, решив пошутить: *«Было бы приятно искупаться в тёплом море»*.

Бичи тут же распорядился ехать в аэропорт. Он уgomонился, поняв, что это шутка, когда мы наперебой стали объяснять, что даже при нашем желании и его возможностях мы не можем никуда лететь – у нас работа, дети, другие обязанности...

Надеюсь, мои грузинские родственники, о которых я не столь подробно смогла написать, простят меня.

С моими старшими кузинами, Цунци, Нателлой и Элико, мы, в силу разницы в возрасте, были в те далёкие годы мало интересны друг другу.

Из подростковых впечатлений хорошо помню младшую из Чиковани, ровесницу Дианы Дареджан. Она была очень хорошенькая, шустрая, ловкая (впоследствии занималась фехтованием). По повадкам напоминала мальчишку и ассоциировалась у меня с Томом Сойером. Даже грузинские танцы танцевала Дареджан, как мальчик, – не «плавала», женственно поводя руками и скромно опуская глаза, а «летала на носочках», быстро перебирая ногами, высоко подпрыгивая и падая на колени, со страстно горящими глазами и воображаемым кинжалом в зубах, как танцуют мужчины...

Что ещё сказать о «моей» Грузии?

Мне греет душу притча о том, что в то время, когда Господь раздавал землю представителям разных народов, беззаботный грузин крепко спал. Проснулся, а вся Земля уже поделена... *«Ладно, – сказал Творец, – возьми кусочек рая»*...

А недавно я была до глубины души тронута словами своей приятельницы-француженки. Поздравляя меня с Новым годом, Рене, заядлая путешественница, сообщила: *«В этом году планирую посетить Грузию; не хочу умереть, не повидав вашу прекрасную страну»*...

Моё еврейство

Если о том, что я грузинка, я знала с раннего детства и гордилась этим, то моё еврейство открылось мне гораздо позже. Не могу сказать точно, когда, потому что это знание приходило ко мне постепенно. До шести лет, пока мы не приехали с мамой к её сестре в Бердичев, я даже не слышала слова «еврей».

Случилось это в 1950 году. Авиационную дивизию, в которой служил папа, направили в Китай помогать народно-освободительной армии дружественного китайского народа («Русский с китайцем – братья навек!» – пелось в тогдашнем шлягере) сражаться на стороне Северной Кореи в войне против Южной. Кстати, участие папы в чужой войне мы должны были хранить в тайне. Думаю, это была такая же «тайна», как позднее – Вьетнам, Афганистан, теперь – Донбасс...

Жили мы в то время в гарнизоне на берегу Каспия, недалеко от Баку. Оставить там жену с двумя маленькими детьми (моей сестре едва исполнился год) папа не мог, да и мама этого не хотела.

Я очень хорошо помню, как папа провожал нас. До Баку мы доехали на военной машине. В Баку, это было вечером, сели все вместе в поезд, и папа ехал с нами, пока не уснула Диана. Помню, как горько и беззвучно, чтобы не разбудить Диану, плакала мама, уткнувшись в мокрый от слёз платок, как папа молча обнимал и гладил её, как маленькую; помню, как папа поспешно вышел на каком-то полустанке, как он стоял и курил на пустом тускло освещённом перроне, такой одинокий и грустный в своей серой длиннополой шинели. И всё вокруг было уныло-серое и тоскливое в сгущающихся сумерках, и одинокий короткий гудок паровоза был, как жалобный крик...

Я одновременно чувствовала и папину тоску, и мамин страх, и недолгую безмятежность спящей, ни о чём плохом не подозревающей сестрички; и собственную, придавившую меня боль, мешавшую заплакать...

В Бердичев мы приехали через несколько дней поздним тёмным вечером (наверное, у нас были пересадки, не помню). Нас встретила тётя Фаня, закутанная в большую вязаную шерстяную белую шаль с длинными кистями. Второй такой же она укутала маму с Дианой, а меня, дылдочку, посадила к себе на колени, без конца целовала, плакала и говорила что-то совершенно непонятное.

С вокзала мы ехали на телеге. Через пару дней я познакомилась с её хозяином – это был сосед-старьевщик со смешным именем – Илюнцы, очень добрый, баловавший, за неимением своих, чужих детей... Он ездил со своей лошадкой по дворам, собирал всякое тряпье, ненужные вещи, а взамен раздавал разноцветные маленькие подпрыгивающие на резинке мячики, иметь который считалось среди ребятни не менее престижным, чем сейчас мобильник. Ещё у Илюнцы были глиняные свистульки в форме разноцветных птичек, которые тоже входили в обязательный арсенал детворы.

Мячик у меня был, а от свистульки пришлось отказаться: во-первых я, воспитанная брезгливым папой, не брала несъедобное в рот, тем более – немытыми руками, а во-вторых, у мамы «от этого воя раскалывалась голова».

Жена Илюнцы носила не менее смешное имя – Песя. Она занималась тем, что ощипывала за небольшие деньги кур и гусей, а потом делала из пуха и пера подушки. Илюнцы и Песя жили на первом этаже, их квартира имела отдельный вход. Песя садилась на пороге своей квартиры на низенькую скамеечку и принималась за дело. Пух лёгкими снежинками порхал вокруг её

головы, образуя бело-кружевной нимб, застревал в густых кудрях, упрямо выбивавшихся из-под косынки, прилипал к пухлым рукам с завернутыми по локоть рукавами. Временами Песя вскидывала округлым движением правую руку и разгоняла кружащиеся перед лицом пушинки; особенно шустрые из них умудрялись зацепиться за волоски над её верхней губой, и Песя безуспешно пыталась сдуть их, смешно оттопыривая нижнюю...

Я не любила беготню, меня не привлекали шумные игры, я усаживалась в беседке напротив с книгой и, периодически поднимая глаза (мне нужно было следить за сестричкой), с удовольствием наблюдала, как ловко Песя управляет с разлетающимися в разные стороны перьями, как сдувает пух с усиков над верхней губой, в какой красивый узор выстраиваются пушинки над её головой...

Но в тот вечер, когда мы усаживались на телегу, мне было не по себе и от столь близкого присутствия большой плохо пахнувшей лошади, и от вида незнакомого дядьки. Он был не высокий, но очень широкий, с квадратной спиной; на большой круглой голове будто приклеенная кепочка, прямо из-под глаз – чёрная с лёгкой проседью борода и усы.

А ещё под нами всё время что-то пугающе шуршало (на телегу «для мягкости» была набросана сухая фасолевая шелуха, прикрытая мешковиной, но тогда я этого не знала). Не меньше смущало и то, что я не могла понять, о чём говорили взрослые (это была смесь русского, украинского и идиш).

К тому времени я уже давно перестала быть «почемучкой», не задавала «лишних» вопросов, предпочитая самостоятельно находить ответы. Вот и тогда, подумав, я решила, что они говорят по-украински (я знала, что мы приехали к тётке на Украину), и успокоилась. Кстати, так ошибалась в детстве не только я.

Много лет спустя я приехала в Бердичев, чтобы повидаться со своими любимыми родственниками. Приехал из Винницы Петя, младший в семье Кучуков; он был уже женат, его Серёжке было четыре. Тётя Фаня с Соней, Петиной женой, колдуя над очередным шедевром еврейской кухни, оживлённо беседовали на том самом «украинском».

Серёжка, безуспешно пытаясь привлечь внимание матери, рассердился и закричал: *«Сколько можно! Я устал тебя звать! И не надо говорить по-украински, я ничего не понимаю!»*

Малыш в тот вечер насмешил нас не только этим. Накрывали стол к ужину. Открыли бутылки с лимонадом (тогда они были стеклянные пол-литровые). Серёжа подставлял к носу горлышко открытой бутылки и наслаждался щекочущими пузырьками газа. Соня увидела, всплеснула руками: *«Что ты делаешь, зачем сунёшь нос в бутылки? Тем более, у тебя насморк!»*. Серёжка невозмутимо парировал: *«Ну и что ж, что насморк? Лимонад же не болеет!»*.

О, пока не забыла. По поводу «болезни» в нашей семье есть ещё один детский анекдот. Его рассказал по телефону мой двоюродный брат Лёня – сын тёти Фани, который уехал с семьёй в США после Чернобыля. Так вот, зять Лёнчика – страстный болельщик, ежевечерне «болел» у телевизора. А его трёхлетний сын тоже часто болел – кашлял. Как-то вечером, войдя в гостиную и застав отца, громогласно «болеющего» перед экраном, пацан, «перепутав болезни», тоном умудрённого спортивного фаната спросил: *«За кого сегодня кашляем?»*...

Но вернёмся в Бердичев. Соня с тёткой были заняты последними приготовлениями к ужину, мужчины, как всегда, обсуждали мировые проблемы, а я развлекала Серёжку. Мы с ним так подружились, что, сидя у меня на коленях, он стал обнимать, целовать меня, приговаривая с Сониными интонациями: *«Ты моя любименькая, моя хорошенькая, моя красивенькая, лопухенькая моя сестричка!»*.

Малыш не понял, почему все покатались со смеху. Дело в том, что его мама произносила «лопухенький мой» так нежно, что он никак не связывал этот комплимент со своими оттопыренными ушами...

Мы в те дни много смеялись, все были рады встрече, у всех было замечательное настроение. Петя, большой мастер, развлекал нас анекдотами. А тётя Фаня сама стала поводом для анекдота. В те годы только-только входило в обиход словечко «снимать» как синоним более раннего жаргонного «клеить».

Соня стала рассказывать о пышной свадьбе одной из своих подружек. Очень хорошенькая блондинка со слегка вздёрнутым, совсем не еврейским аккуратным носиком, с огромными голубыми глазами, Петина жена любила лишний раз напомнить золовкам, какое счастье выпало на долю их непутёвого братца. Так вот, рассказывая о свадьбе, Соня кокетливо заметила: *«Ой, там были такие интересные парни-одесситы, они нас с Майкой всё время снимали».*

Моя милая тётя Фанечка, которая, казалось, не слушала хвастливую невестку, вдруг встрепенулась и искренне поинтересовалась: *«А фотографии ты привезла?».*

Вспомнила ещё одну забавную реакцию моей любимой тётки. В гостях у тётки Фани, ещё через несколько лет, рассматриваем с мужем фотоальбом с фотографиями членов маминой семьи, которых в нашем доме не было. Одна из них сделана в 1944 году, в год моего рождения, в Катта-Кургане. На фото моя бабушка Дина, молодожёны – девятнадцатилетняя тётя Фаня с мужем – симпатичным молодым дядей Мишей, и младший в семье – десятилетний Петька.

Рассматриваю фотографию и с восторгом замечаю: *«Тётя Фанечка, какая ты здесь красивая! И шея какая высокая, и ноги какие стройные!».* Моя любимая тётя, заметно располневшая за прошедшие тридцать с лишним лет, среагировала мгновенно: *«Ах, когда это было?! А теперь ноги в ж. пу ушли, а шея в задницу!»...*

Бердичев, если вдруг кто-то не знает, славен не только древним собором, в котором венчался Бальзак и снимался популярный в своё время фильм «Старая крепость». Бердичев в те годы был одной из неофициальных «еврейских столиц» на Украине; там даже украинцы говорили с еврейским акцентом. Так вот, именно там, в Бердичеве, я впервые услышала: *«Дывы, яка гарна ця малёнька жидовочка!».*

Так говорили соседки – гойки, как тётя их называла. Не задавая вопросов, я решила, что «гойки» – это плохо воспитанные, неопрятно одетые женщины, которые не пользуются носовым платком, бесконечно «лузгают» семечки, выкладывая шелуху на нижнюю губу так, что она склеивается и повисает слюнявой серой бородой. Ещё гойки очень громко разговаривают, ругаются плохими словами, ссорятся, обзываются и дерутся (периодически у кого-нибудь из них красовался синяк под глазом). Но страшнее всего было то, что они бьют своих детей, я так и не смогла понять, за что... Они били их ремнём, руками, кулаками, по попе, по голове, по спине, дома, во дворе; дети орали благим матом, но никто их не жалел, не успокаивал...

Были ещё какие-то совсем уж плохие женщины, которых я не знала, но была уверена в их никчёмности, потому что, упоминая о них, тётя Фаня шурилась, и с презрительной миной сквозь стиснутые зубы выплёвывала, как что-то гадкое: «шикса».

А мы – жидовочки, мы не едим грязными руками на улице, мы не говорим плохих слов, нас не бьют...

Всё было логично и понятно, потому у меня не возникало необходимости задавать вопросы по этому поводу.

Несмотря на то, что гойки мне совсем не нравились, я была вынуждена считаться с тем, что они – взрослые, и подчиняться; да и, честно говоря, я их немного побаивалась. Особенно неприятно было, даже стыдно, когда они, подозвав меня к своей лавочке, бесцеремонно задирали моё платье, чтобы разглядеть, какие на мне трусики (папа несколько раз присылал нам платья, обувь, шёлковое бельё, какого тогда в нашей стране и у взрослых женщин не было).

Кстати, как-то пришла посылка с десятком пар обуви для меня, все одного размера. Мама с тётей, поохав и поахав по поводу папиной непрактичности, поступили более практично: я раздала кожаную английскую обувь своим одноклассникам, которые приглашали меня на день рождения.

Только став старше, я поняла, как трудно было маме и тёте.

Их мама, моя бабушка, к тому времени умерла (это случилось 2 марта 1949 года, перед нашим отъездом с Сахалина, бабушке было всего 46 лет). Дедушка не мог прийти в себя после скоропостижной смерти жены и сам нуждался в поддержке. Моя 26-летняя мама и её 25-летняя сестра, каждая с двумя детьми, и их 16-летний брат – мы все вместе жили на папину зарплату.

Дело в том, что когда мы приехали в Бердичев, без папы остались не только мы с Дианой, но и тёти Фанины дети – Полина и Лёнчик. Муж тёти Фани, дядя Миша Айзенберг, незадолго до нашего приезда был непонятно за что арестован, и, как тогда было принято, без суда и следствия сослан незнамо куда. Тётя Фаня потратила кучу денег, продав всё, что имело хоть какую-то цену, лишь для того, чтобы узнать, где он.

Дядя Миша первые три года войны был на передовой, служил в танковых войсках. После тяжёлого ранения и лечения в Ташкентском госпитале был демобилизован и направлен в Катта-Курган на «административно-партийную работу». В Катта-Кургане, куда было эвакуировано семейство Кучуков, и где я родилась, дядя Миша с тётей Фаней познакомились, поженились, и в июне 1945 года у них родилась Полина – моя двоюродная сестра.

В Бердичев увеличившаяся за годы войны семья приехала после войны. Мечтали, конечно же, вернуться домой, в Песчанку, но их дом был занят представителями «титულიной» на Украине нации. Новые жильцы недвусмысленно дали понять, что дом больше не принадлежит бывшим владельцам, и что те *«должны радоваться, что успели убежать и остались живы»*...

Дядя Миша, попавший в партбойму, получил и в Бердичеве должность в райкоме партии. Помню, как смешно дядя Миша копировал узбеков, плохо говоривших по-русски: *«Айзенберг-ака, какым дело будет, скандальный справка потерялым будет»*... правда, это я услышала позднее, когда в 1952 году папа, вернувшись из Китая, сумел добиться освобождения и реабилитации дяди Миши.

Вопрос *«какым дело будет?»* используется и по сей день в нашем семействе (*«какым»* нужно произносить с ударением на первом слог).

Мы, дети, мало что понимали. Наши мамы, молодые, закалённые вековыми страданиями своего народа, недавно пережитой войной и ранней смертью своей матери, умудрялись вести хозяйство так, что ощущения нужды у меня не осталось. Тем более, и мама, и тётя очень вкусно готовили.

Опекал наше семейство военный врач Иван Алексеевич, он работал в госпитале. Иван Алексеевич часто бывал у нас и один, и со своей женой Надеждой. Всегда приносил нам сласти. Особенно я любила (кроме шоколада, конечно,) подсолнечную халву. Он приносил её

в фабричной упаковке – в картонной коробке, выстланной пергаментной бумагой. В жаркие дни халва подтаивала, прилипала к бумаге, и мне особенно нравились аккуратно срезаемые с бумаги «корочки».

Раз в месяц, после получения зарплаты, Иван Алексеевич водил нас четверых в гастроном, и каждый мог выбрать себе то, что хотел. Мы с Дианой предпочитали шоколад; Полина, к моему удивлению, выбирала фруктовые разноцветные помадки без оберток, а Лёнчик любил ириски – довольно большие пластины, которые легко делились на плоские квадратики с ребристой поверхностью, похожие на гематоген.

Неподалёку от тёти Фани жил родственник дяди Миши – Нахман. Не только его имя, но и его профессию я услышала впервые. Нахман был бондарем, и сам был похож на большую бочку – высокий, широкоплечий, с большой круглой седой головой, стриженной «под ёжик», с молочно-розовыми щеками, демонстрирующими крепкое здоровье; несмотря на возраст (ему было под шестьдесят), он никогда не болел. Думаю, кроме генетики свою роль сыграло кошерное питание, свежее молоко (они с женой Хоной держали корову) и физическая работа.

Хона, его жена, являла полную противоположность своего мужа-здоровяка: маленькая, худенькая, сторбленная, она старалась как можно реже попадаться мужу на глаза. Говорила тихим голосом, ходила вдоль стенки...

Хона и Нахман, прожившие вместе долгую жизнь, не смотрелись парой не только из-за разительных различий внешности; у Хоны была роль не жены, а послушной болезненной безответной прислуги при недобром барине.

Нахман был набожный, но поняла я это гораздо позже, когда смогла понять то, что однажды случайно увидела. В очередной раз я пришла к соседям-родственникам за молоком. Постучав в приоткрытую дверь, переступила порог, не дождавшись ответа, и застыла, увидев удивительную картину: Нахман, сидя за столом, раскачивался над старой потрёпанной книгой, нараспев бормоча что-то непонятное; на нём было какое-то полосатое покрывало, а ко лбу была привязана чёрная коробочка, похожая на чернильницу...

Перепуганная побледневшая Хона, не укараулившая дверь, «вытащила» меня и отчаянным шёпотом просила никому из чужих не рассказывать о том, что я видела.

Ко многим тайнам прибавилась ещё одна...

Тётя Фаня Нахмана не любила, осуждала за отношение к Хоне, за скупость. Вспоминая её разговоры с мамой, которые часто велись в уверенности, что мы, дети, их не слушаем, а если слышим, то ничего не понимаем, я пришла к выводу, что Нахман из жадности не хотел ничем помочь попавшему в беду дяде Мише – своему единственному живому родственнику; а на Хону, вероятно, злился за то, что она не смогла родить детей.

Из всей нашей многочисленной семьи Нахман хорошо относился только к Лёнчику, остальных, мягко говоря, игнорировал, а Диану и вовсе не любил за то, что она обижала Лёню.

Лёнчик всего на пять месяцев младше Дианы. И хотя Дианка была малюсенькая, хрупкая, а Лёнчик – крупный толстый и важный, его все называли не иначе как «директор смешторга», он боялся Диану, как огня. Моя сестричка была очень подвижная, капризная и агрессивная. Играть вдвоём им не удавалось – Диана все игрушки забирала себе и не позволяла Лёне до них

дотрагиваться. Поэтому Лёнчик, бедный, старался успеть поиграть собственными игрушками, пока мама выходила с Дианой гулять. Но Лёня и тогда был настороже: стоило кому-то сказать: «Диана идёт!», он, бедняга, всё бросал и улепётывал от греха подальше.

Как-то Нахман сделал очень красивый маленький стульчик из берёзовых дощечек, совсем как настоящий, со спинкой, и в то же время – сказочный, как на иллюстрации к сказке о Маше и трёх медведях. Принёс стульчик Лёнчику, строго приказав никому его не давать, имея в виду, естественно, Диану. Нахман был очень недоволен тем, что Лёня не умеет за себя постоять.

Вскоре из-за этого сказочно красивого стульчика произошла пренеприятнейшая история. Сидят малыши на горшках. Лёня обеими руками держит перед собой свой стульчик. Диана требует, чтобы он отдал его ей, привычно ожидая повиновения. Но Лёня решил не уступать. Тогда моя сестричка «подъехала» на горшке поближе к брату и ухватила за стульчик, пытаясь силой отобрать его. Силы были не равные. Лёнчик, гораздо более тяжёлый и сильный, выполняя наказ Нахмана, вцепился в стульчик ещё крепче. Дианка, используя прочно стоящий стульчик, подъехала ещё ближе, и, не успев Лёнчик охнуть, укусила уверенного в победе мальчишку за ухо, да так, что пролилось довольно много крови...

Чтобы закончить рассказ о Нахмане, расскажу о том, что мне, опять же случайно, удалось увидеть лет через десять. Я перешла в 10 класс и приехала во время летних каникул погостить в Бердичев. Утром тётя послала меня к Нахману за молоком. Хона к этому времени уже несколько лет покоилась на старом еврейском кладбище. Нахман же, казалось, не изменился – такой же мощный и розовый.

Постучав, я открыла дверь в квартиру Нахмана, не дожидаясь приглашения войти. И хотя взгляд длился мгновение, потому что увиденное заставило меня тут же ретироваться, представшая передо мной картина отпечаталась в моей памяти в самых мелких деталях.

На раскрытой постели, опираясь на высокие подушки, возлежала пышнотелая молодая женщина в красивой кружевной комбинации – так называли в те годы женские нижние шёлковые сорочки, непременно надевавшиеся под платье. Подтверждением может служить анекдот, в котором слово «комбинация» является ответом на вопрос из серии «армянское радио спрашивают»: «Что у еврея на уме, а у женщины под юбкой?».

Юбки, однако, на даме не было, но зато на её плечах серебрилась черно-бурая лиса, свесив справа на соблазнительно-упругую грудь прелестницы узколобую голову с блестящими глазами, а слева – пышный хвост. Перед кроватью, вполоборота к двери, стоял на коленях почти одетый Нахман и надевал своими огромными лапищами тонкий капроновый чулок на сдобную женскую ногу. Бондарь был так увлечён, что не отреагировал на открывшуюся дверь, а его подружка успела игриво мне подмигнуть.

Я поспешно вернулась домой и, пряча глаза, сообщила, что молока не принесла, потому что Нахмана нет дома. Тётя Фаня ехидно усмехнулась и, обернувшись к дяде Мише, сказала ему на идиш то, о чём мне совсем нетрудно было догадаться, услышав слова «гойка» и «шикса», «на которую у него есть деньги, а бедная Хона в могиле» – это тётя сказала по-русски, потому что все слова – приличные...

Может, я бы навсегда забыла эту сцену, но она всплыла в моей памяти через пару лет в Ленинграде... Но об этом «лоскутке» – позже...

В связи с воспоминанием о «пролитой Лёнчиком крови», выплыла из памяти ещё одна история, когда Диана использовала зубы как оружие. Мама собирала Диану в детскую поликлинику. Поскольку одеть шустрячку было не так-то просто, мама посадила сестричку на стол, чтобы та не смогла убежать, а мне поручила придерживать её, чтобы не упала.

Я старательно, стоя сбоку, удерживала егозу обеими руками; мама застёгивала на ней кофточку. Свободолюбивая Диана, оказавшись в плену, вдруг неожиданно изогнулась и укусила меня за палец, да так «удачно», что брызнувшая из моего пальца кровь запачкала её кофточку.

Мне было не столько больно, сколько обидно, так как виноватой оказалась я, потому что *«нерасторопная и неуклюжая»*. Шрам, между прочим, до сих пор остался....

Бердичев долгие годы ассоциировался в моей памяти с бульваром, который мне очень нравился. Мне стало грустно, когда узнала, что прежнего бульвара в Бердичеве больше нет...

Не могу сказать, в связи с чем, но вспомнила наши семейные прогулки по Бердичевскому бульвару в праздничные дни. Нарядные люди шли навстречу друг другу, здоровались, обменивались любезностями, ненадолго останавливаясь...

И каждый раз я испытывала противоречивые чувства во время этих прогулок. С одной стороны, мне нравилось чинно шагать рядом с нарядно одетыми мамой и тётёй, которые были, на мой взгляд, самыми красивыми. С другой, хорошо помню ощущение неловкости, которое я испытывала, когда в праздничные дни, отвечая на поздравления, многие в ответ говорили: *«ВзаимЕнно»*.

От этого «взаимЕнно» меня почему-то буквально подташнивало...

До сих пор не понимаю, почему исковерканное таким образом слово, всякий раз вызывало во мне неприятное смущение...

Несмотря на жизнь в еврейском Бердичеве, о евреях и еврействе применительно к нашей семье я узнала лишь через пару лет, когда мы уехали из этого города.

Папа вернулся из Китая летом 1952 года, когда я закончила первый класс. Получил звание подполковника и назначение в Харьков. Первое время, пока папе не предоставили квартиру, мы жили на частной.

Наши хозяева – супружеская пара, украинцы, владели большим домом из красного кирпича. Дом был одноэтажный, но разделённый на две изолированные половины, каждая со своим входом; в одной из половин мы и поселились. В доме было очень красиво: картины на стенах в прекрасных рамах, старинная мебель, антикварные вазы, настольные лампы, статуэтки...

Хозяин, в то время, когда мы у них жили, работал начальником конторы «Заготзерно» и два раза в неделю, возвращаясь с работы на служебной трофейной машине, привозил пару мешков зерна, которым питались свиньи.

Свиней было несколько, обитали они в кирпичном большом сарае с белоснежными изнутри стенами, которые хозяйка, Мария Семёновна, периодически подбеливала. Плохих запахов не было, по утрам недолго пахло варевом, которое хозяйка готовила в огромном котле на специальной печке возле сарая. Кормили свиней по часам и в определённом порядке (на стене в сарае висел график: сколько дней – комбикорм, сколько – картофель, сколько – зерно и т.д.). Как объяснила мне Мария Семёновна, чтобы получать не просто мясо и сало, а ещё и бекон.

Несмотря на прекрасные условия, мы прожили в их доме не долго, потому что вскоре мама увидела на металлическом основании одной из красивых настольных ламп подарочную гравировку с еврейской фамилией; узнала от соседей, что во время войны наши хозяева, вероятнее всего, сотрудничали с немцами, а этот большой красивый дом выменяли у известного еврея – профессора медицины, за мешок муки; а потом эта свинарка при маме стала что-то рассказывать о «жидах»... (эти подробности стали мне известны гораздо позднее).

Пожалуй, «последней каплей» для решения вопроса о нашем отъезде из удобного дома стал мой вопрос. Именно от Марии Семёновны я услышала «жид», «жидовская морда», звучавшие совсем не так, как «гарна жидовочка».

Не сумев самостоятельно разобраться, каких плохих людей Мария Семёновна называет жидами, спросила маму. Узнала, что кроме многих национальностей, о которых я к тому времени знала (грузины, армяне, русские, украинцы...) есть ещё и евреи, которых *«глупые люди называют жидами»*; узнала, что мама и её родственники – тоже евреи, но *«говорить об этом никому не надо; почему – мне объяснят позже, когда я стану старшей»*.

Так я стала владелицей ещё одной тайны.

Я рано привыкла хранить не только свои, но и чужие тайны.

От жизни в Бердичеве осталась гнетущая атмосфера тревоги, царившая в нашей семье: папа очень далеко (о войне я тогда не знала), писем от него не было месяцами, и мама ужасно нервничала; дядя Миша неизвестно где и неизвестно, жив ли; бабушка редко появляется дома; Петька не хочет учиться, гоняет днями в футбол, да ещё и анекдоты рассказывает; даже Нахман совершает что-то непонятное...

Тревоги были напрямую связаны с тайнами: нельзя рассказывать, что папа в Китае, он – *«в командировке»*; нельзя поддерживать и, тем более, заводить разговоры о дяде Мише – *«он заболел, вылечится и скоро приедет»*; нельзя спрашивать о бабушке, который *«связался с какой-то и теперь пьёт, как гой»*; нельзя никому рассказывать о странном поведении Нахмана, – нельзя, нельзя, нельзя...

Тайна **маминой** национальности оказалась в череде многих предшествующих – одной тайной больше, какая разница! Послушная девочка, я никому не говорила о том, что мама – еврейка, но поняла, что в действительности означают слова «гарна жидовочка», как называли меня «гойки» в Бердичеве. Хотя, признаюсь, тогда я ещё не осознавала, что я тоже еврейка, слишком рано и твёрдо усвоила, что я – грузинка.

Может, от семейных проблем и груза многих тайн на всех фотографиях тех лет я такая серьёзная, грустная, неулыбчивая?

Половину большого дома антисемитов мы сменили на маленький флигель во дворе другого частного дома на Журавлёвке. Крошечный домик стоял в глубине двора, от калитки к нему вела узкая тропинка, сходить с которой нам было строго запрещено – по обе стороны располагались клубничные грядки.

Хозяин этого дома ничуть не напоминал прежнего, которого я запомнила в белом чесучовом костюме и такой же кепке с кряхтением вываливающего своё пузо из автомобиля, пока водитель выгружал мешки с зерном (позднее я вспоминала о нём, глядя на героя Игоря Ильинского в фильме «Волга-Волга»).

Новый хозяин был инвалидом – вернулся с войны без ноги, её заменяла деревяшка, по форме похожая на пузатую бутылку, перевёрнутую вниз горлышком. Василий Семёнович

был пугающе страшен не только деревянной ногой и костылями, которыми он часто колотил своего старшего сына, но и жуткими криками и угрозами, сопровождавшими нередкие запои.

Его жена, Мария Михайловна, безостановочно копошившаяся то в огороде, то во дворе, была такая тихая, что даже делала всё бесшумно. Своего мужа она боялась так же, как все остальные.

Бытовой антисемитизм на Украине лез из каждой щели, и это всё больше и больше задевало меня – став старше, я поняла, что я не только грузинка, но и еврейка. Мама сердито уклонялась от моих вопросов и любого разговора на эту, явно неприятную для неё, тему. Я не понимала и, тем более, не одобряла мамино стремление скрыть своё еврейство, с подростковым максимализмом я считала это предательством по отношению к моей любимой тёте Фане, к дедушке, к другим еврейским родственникам.

Когда я заканчивала четвёртый класс, папу перевели в военный гарнизон «Скоморохи», в 15 километрах от Житомира, а от Житомира до Бердичева, где по-прежнему жили мамнины родственники, всего 42 км. Я была безмерно рада. Во-первых, я очень любила свою тётю Фанечку. В отличие от моей мамы, не любившей «телячьи нежности», её младшая сестра была очень тёплая и во время нашей жизни в Бердичеве компенсировала мне отсутствие папы – она часто сажала меня на колени, обнимала, целовала и, так же, как папа по-грузински, нежно приговаривала что-то на идиш.

Мне нравилось, когда тётя Фаня пела, у неё был прекрасный слух и красивый сильный голос. В 6 лет я особенно любила две песни. Когда тётя пела по-русски и на идиш «Друзья, купите, папиросы», у меня в груди появлялся всё разрастающийся тяжёлый комок, готовый взорваться рыданиями, я опускала голову, чтобы не видеть тётини глаза и не дать воли слезам... И сейчас, когда слышу эту песню, возникают те же чувства. Это может показаться невероятным, но, на мой, взгляд, тётя Фаня пела эту песню лучше всех самых титулованных исполнителей – столько искренней тоски и боли было в её голосе...

Вторая песня, «Лучше нету того цветку, когда яблоня цветёт», пробуждала совсем другие чувства. Тётя Фаня тоже очень любила её; когда пела, щёки разгорались, зелёные глаза озорно блестели, а я будто наяву видела цветущие яблони в лунном свете, слышала звуки гармони за рекой... и моя душа, которая не умела ещё «пылать и гореть», замирала в щекочущем предчувствии. Думаю, именно эта песня пробудила во мне страстную любовь к цветущему саду, и когда у нас появился участок земли, мы посадили там много фруктовых деревьев не ради урожая (часто не знаем, куда его девать), а для того, чтобы любоваться их цветением...

Во-вторых, в Бердичеве я могла утолить свой проснувшийся интерес ко всему еврейскому. Я с удовольствием общалась с Бердичевскими ровесниками, в большинстве – евреями; с гордостью узнавала, сколько великих людей подарили миру евреи; мне нравилось читать: «*Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье*». Мне нравились замечательные учителя-евреи, которые приезжали на работу в нашу школу из Житомира: Ида Петровна и Эсфирь Григорьевна, Полина Моисеевна и Зиновий Яковлевич. Я им очень благодарна – это их заслуга в том, что я смогла без всяких репетиторов сдать все четыре вступительных экзамена в Ленинградский медицинский институт на «отлично» (о своих учителях я обязательно расскажу подробнее).

Мне было 15. Часть летних каникул я проводила в Бердичеве. К моей двоюродной сестре Полине, которая на год моложе, приходили подружки. В соседнем доме (дома были небольшие двухэтажные, размещались так близко друг от друга, что между ними был лишь узкий проход) жил Ильюшка Голуб, года на два старше меня, у него тоже было много друзей, так что во дворе обычно собиралась шумная компания.

Запомнился мне Натан, Нёма, он смотрел на меня такими откровенно-восхищёнными глазами, как, пожалуй, никто и никогда после.

Однажды, когда мы гурьбой возвращались с пляжа, он задержал меня возле дома, мимо которого мы проходили, и предложил зайти к его бабушке. Бабушка был очень старенький, сгорбленный, с длинной седой бородой и усами, похожий на доброго гнома из сказки. Они с Нёмой расцеловались, Нёма представил меня.

Старик ласково заговорил со мной на идиш. Я растерянно улыбалась, беспомощно оглядываясь на Нёму, потому что поняла только «шейне пунем». Из выцветших глаз старика потекли слёзы, он горестно качал головой, повторяя: *«Что же будет, что будет, они даже языка не знают»*... Его боль была такой глубокой, такой искренней, я её так остро почувствовала, что чуть сама не расплакалась; хотя по-настоящему осознала его страдание гораздо позже.

Лев Толстой, как известно, начал изучать иврит в преклонном возрасте, чтобы прочитать в подлиннике Тору. Мне стыдно, что я не знаю даже идиш. Может, в возрасте Толстого тоже сумею овладеть языком Книги...

Короче говоря, к 16 годам, уверенная в себе и в своих способностях, я решила, что впредь не хочу и не буду скрывать, что я наполовину еврейка, и даже попыталась узаконить своё решение...

Паспорт нужно было получать в Житомире. Папа днями на службе, мама не могла оставить двухлетнего братика, оформлять документы я поехала самостоятельно.

Работник паспортного стола, средних лет мужчина, типичный еврей с распухшим обвислым сопливым носом и воспалёнными веками, не поднимая головы, протянул мне бланк, который следовало заполнить. В графе «национальность» я написала: еврейка.

Не поворачивая головы, по-видимому, она у него сильно болела, простуженный чиновник взял мои бумаги, стал их просматривать и вдруг скороговоркой, картавя, гнусавым возмущённым голосом стал швырять в меня вопросы, не ожидая ответов: *«Почему еврейка? Какая еврейка? Кому нужны эти глупости? Ваш отец – грузин, у тебя грузинская фамилия, кто выдумал такие глупости? Где твои родители?»*.

Работник паспортного стола выражал сердитое недоумение, сбиваясь с «вы» на «ты», пожимая плечами, разводя руками, умудряясь при этом тыкать пальцем в мою анкету и сморкаться в мокрый клетчатый платок.

Я стала возражать, что ни родителей, ни, тем более, его, это не касается, что это моё решение, что я имею право...

Упрямый дядька слушал меня, сокрушённо качая головой, потом разорвал мою анкету и велел приехать с родителями: *«Ты, девочка, я вижу, думаешь, что ты самая умная. Может быть! Но ты-таки ничего не понимаешь! А я не такой уж большой умник, но я знаю жизнь, и я не хочу тебе её испортить»*. Встал, вышел из-за стойки и буквально вытолкнул меня из кабинета.

У него были такие печальные больные глаза, и говорил он так искренне...

Дома состоялся тяжёлый разговор с мамой. Я горячо убеждала её, что это недостойно и стыдно – скрывать свою национальность, что я не собираюсь этого делать. В ответ мама пустила в ход привычные аргументы: слёзы, обвинения в эгоизме, сердечный приступ с каплями. Заламывая руки, поблагодарила Б-га за то, что там сидел еврей: *«Ужас! Что же ты вытворяешь?! Если бы на месте этого порядочного еврея оказалась какая-нибудь деревенская хохлушка, она с удовольствием бы испортила тебе паспорт. Кошмар! Ты точно сведёшь меня в могилу своими фокусами!»*...

Сломила она моё сопротивление, отказавшись от привычной тактики (к словам про инфаркт и могилу я настолько привыкла, что они на меня давно не действовали) и понимая, что на этом я «сломаюсь»: *«Людмила, я тебя умоляю, откажись от этой затеи ради папы. Ты же знаешь, как он тебя любит, как гордится тобой, как надеется, что ты прославишь его фамилию; ему будет обидно, если ты откажешься от его национальности. И ещё – если в твоём паспорте напишут „еврейка“; все узнают, что и я еврейка, а это может папе навредить»...*

Наивная, лишь много позже, узнав о возможностях и власти КГБ, поняла я смехотворность второго аргумента; но всё, что касалось папы, было для меня свято. Я уступила.

Но... уехав из родительского дома сразу после окончания школы, с кем бы я ни знакомилась, в любой компании, в институте и после, как только возникал вопрос о национальности (а он неизменно возникал в России в связи с моей нерусской фамилией), я отвечала: *«Да, мой папа – грузин, а мама – еврейка»*. Это вызывало разные реакции. Мои друзья обычно говорили: *«Зачем ты всем докладываешь, ты бы ещё табличку на грудь повесила; грузинская фамилия, по паспорту – грузинка, внешность соответствует, зачем нарываться?»*.

А я не нарываюсь, я – наоборот. Я ограждаю себя от антисемитских разговоров и высказываний в моём присутствии, во всяком случае. Это, во-первых. Во-вторых, и это главное, я сразу исключаю антисемитов из круга своего общения. Ну, и, в-третьих, я не вижу причин скрывать свою принадлежность к избранному Б-гом древнейшему народу, сохранившему, несмотря на гонения, свою веру, свои традиции на протяжении многих тысячелетий. Если честно, я в глубине души даже чуточку горжусь этим, хотя и понимаю, как это глупо...

Должна признаться, что мама, светлая ей память, до конца своих дней чуралась еврейства, делала вид, что не знает обычаев, ничего не понимает на идиш... В 2000 году в Великом Новгороде открылась первая после войны синагога, а за пару лет до этого была организована еврейская община. Я была её активным членом, волонтером – психологом. Когда приехал раввин, с удовольствием стала заниматься изучением Торы. Мама была очень недовольна, пыталась даже убедить меня в том, что я напрасно «так себя веду», но времена, когда я её слушалась, давно прошли.

Мои младшие сестра и брат в большей степени – грузины. Они похожи на папину родню, с большим удовольствием говорят о Грузии, обходя молчанием своё еврейство. Я же всегда чувствовала особую связь с маминой роднёй, чем старше становилась, тем больше ощущала себя еврейкой. Я объясняла себе это тем, что родилась и первые годы своей жизни провела в еврейской семье. Папа был на фронте, размышляла я, а в маминой семье, эвакуированной из маленького местечка Песчанка, Винницкой области, где евреи составляли значительную часть населения, наверняка говорили на идиш (не важно, что я этого не помню). Бабушка Дина, вероятно, пела мне еврейские песни, колыбельные, а, может, и еврейские молитвы читала... Именно эта «запись» в подсознании, кроме генной информации, полагала я, определяет моё отношение к еврейству и отличает меня от сестры и брата, родившихся и выросших в другой среде. И в этой, как выяснилось, далеко не полной версии, созданной по привычке на основе собственного анализа, я не сомневалась долгие годы.

По молодости и по глупости я осуждала маму (сестра и брат были ещё детьми). Теперь мне просто жаль её. Когда она умерла, я похоронила её по еврейским обычаям (в рамках возможного, конечно), заказала Кадиш...

Могу понять, но всё-таки жаль тех, кто не принимает себя в полной мере, чего бы это ни касалось – пола, национальности, возраста или формы носа...

Вспомнила историю, которая произошла в Старой Руссе Новгородской области, где мы с мужем работали по распределению после окончания института. Среди наших коллег и друзей была супружеская пара – оба врачи, оба евреи. Однако их дети росли в полном неведении о своей национальной принадлежности.

Пришло время старшему сыну вступать в комсомол. Классная дама принесла в класс анкеты, и ученики стали хором заполнять их. В обязательной по тем временам пятой графе сын родителей-евреев, ничтоже сумняшеся, написал: «русский». Учительница, оказавшаяся на редкость тактичной (а может, потому что пользовалась услугами его папы-стоматолога), ничего не сказав новоявленному русичу, встретила с его родителями: *«Вы знаете, что ваш Владик скрывает свою национальность?»*

Обескураженные родители затеяли беседу со своим «русским» сыном. Пренеприятнейшее известие вызвало у 14-летнего парня настоящую истерику. Живя среди русских, он неоднократно слышал, да и сам, наверное, высказывался нелюбезно о евреях. Не скрывая злых слёз, мальчишка сопротивлялся: *«Нет, я не еврей! Я не хочу быть евреем! Почему я еврей? Я ведь родился в Старой Руссе, значит, я – русский!»*. Наконец, не находя аргументов против доводов родителей, он жалобно спросил: *«А можно я напишу „русский еврей“?»*.

Чтобы облегчить непосильную ношу, свалившуюся на сына, родители стали рассказывать ему о евреях всё самое лучшее. Они называли имена великих учёных и композиторов, художников и писателей, своих знакомых, которых мальчишка уважал и ценил. Прямо, как в анекдоте: *«Едут в купе поезда христианская семья с сыном-подростком и старый еврей. Старик задумчиво смотрит в окно, семейство совместными усилиями разгадывает кроссворд.*

– Создатель теории относительности?

– Эйнштейн, – с гордостью объявляет сын.

– Еврей, – тихо, не отрывая взгляда от окна, замечает попутчик.

Родители переглянулись, пожали плечами, продолжают:

– Один из авторов «Манифеста коммунистической партии»?

– Ну, я точно знаю, это Маркс, – сказал глава семейства.

– Еврей, – буркнул, не оборачиваясь, еврей.

– Основатель психоанализа?

– Это легко, сказала мама, – конечно же, Фрейд!

– Еврей.

Мама не выдержала:

– Господи Иисусе, пресвятая Дева Мария!..

– И эти тоже евреи»...

При этих просветительских беседах присутствовала младшая дочь – дошкольница Марина. Результат не замедлил сказаться.

Описанные события происходили в апреле (приём в комсомол был приурочен ко дню рождения Ленина). В первые майские дни, когда уставшие от холода северяне стараются каждый свободный час насладиться солнышком, мы небольшой компанией расположились на берегу солёного курортного озера. Сестра «русского еврея», пятилетняя Маринка, своими чёрными кудрями до плеч, огромными, в пол-лица фиалковыми глазищами и звонким смехом привлекала всеобщее внимание.

«Какая хорошенькая девочка, – сказал кто-то из соседней компании, – настоящая цыганочка». Маринка громко и гордо парировала: *«Я не цыганочка, я – еврейка!»*.

Мне тоже пришлось «посвящать» своих сыновей в евреи при не менее «смешных» обстоятельствах. Это было в 1975 году, мы тогда переехали из Старорусской деревни Буреге, где открывали новую участковую больницу (муж был переведен туда из Старой Руссы на должность главного врача), в Новгород, где мужу вновь предстояло стать главным врачом областной детской больницы на 400 коек, предварительно достроив её и оборудовав.

Тимурику было семь, Николаше – четыре с половиной года. Готовлю на кухне ужин, мальчишки играют в комнате; слышу – ссорятся. И вдруг малыш, исчерпав аргументы, закричал: «Ты, Тимка, – настоящий жид!».

Я вошла в комнату и попыталась «внести ясность»:

– Ты, Николаша, хотел сказать, что Тимур жадный?

– Нет, жадный – это жмот, жила, а он – жид!

– А что это значит?

Колюк посмотрел на меня недоверчиво:

– Ты сама знаешь!

– Нет, я не знаю.

Неуверенный в правдивости моих слов и, в то же время, преисполненный гордости, что может чему-то научить свою маму, Колюня, к моему неопишуемому ужасу, объяснил: «*Жиды – это самые плохие люди. Знаешь, есть цыгане – они тоже плохие, но жиды – ещё хуже*».

Я так растерялась, что чуть не выронила тарелки, которые несла к столу. Понимая, что предстоит непростой разговор, я пообещала, что о «жидах» мы поговорим после ужина.

В тот вечер я особенно долго и тщательно мыла посуду. Мальчишки уже забыли о ссоре, но я, памятуя о «русском еврее Владике», решила, что пришло время познакомить сыновей с национальными особенностями нашей семьи. К тому времени мои мальчишки уже знали, что такое «Энциклопедический словарь». Чтобы приучить их пользоваться им, я, когда кто-то из них спрашивал меня о значении незнакомого слова, открывала словарь, и мы вместе «читали» (конечно же, адаптированную мною версию).

Помощью словаря я решила воспользоваться и на этот раз. Для начала прочитала им (в сокращенном варианте), что такое «нация». Потом мы поговорили о том, что достоинства и недостатки человека определяются его характером, его умом, его культурой, воспитанием, поступками, но никак не национальной принадлежностью. Потом поговорили о цыганах. Потом – о евреях.

Поскольку о великих говорить было рановато, я привлекла для убедительности наших друзей, которых мальчишки знали с рождения: «*Олег Александрович (Розенберг) – хороший человек? А Евгений Иосифович (Швари)?*». Перечислила еще нескольких. «*Ну, так вот, они – евреи*».

Тимка отнёсся к этой новости довольно равнодушно, а Колюк, расширив и без того большие глаза: «*Настоящие?!*».

Кстати, его реакция была такой же, когда он (через пару месяцев) услышал уточняющую информацию об одном из наших друзей, которого он знал, как «дядя Слава». Незадолго до этого мы все вместе посмотрели фильм «Джентльмены удачи» и кличка «доцент» для Николаши была равна понятию «бандит». И вдруг в разговоре о Славке прозвучало слово «доцент».

«*Кто доцент?*». «*Дядя Слава Валетов – доцент*».

Передать недоумение, отразившееся на Колькиной мордашке я не могу, но его удивлённый вопрос был такой же: «*Настоящий?!*». Пришлось поговорить о «доцентах с кандидатами»...

Возможно, в тот вечер, заново «знакомя» своих мальчиков с нашими друзьями-евреями, я смалодушничала, решив, что на первый раз, да ещё перед сном, малышам достаточно информации к размышлению.

Через несколько дней, воспользовавшись тем, что к нам должен был приехать Лёня (он был уже женат, работал фельдшером в Житомирской областной СЭС, и мы разрабатывали с ним план получения им заочного высшего биологического образования в Новгородском педагогическом институте), я вновь завела разговор о евреях и объяснила своим сыновьям, насколько они сами – евреи. Эту новость они восприняли совершенно спокойно.

Пару лет назад, вспоминая о тётё Фане, Тимур признался, как лет в 12, когда гостил в Бердичеве (он тогда был там один), мучился подозрением, что мои тётя и дядя – немецкие шпионы. Однажды утром, едва проснувшись, он услышал, как дядя с тётёй говорили «по-немецки» (в школе он учил английский, звучание немецкого знал по фильмам о войне, а о языке «идиш» не подозревал). Смутило его вдобавок и то, что тётя с дядей разговаривали очень тихо, чтобы он их «не раскрыл» (конечно, они ведь боялись его разбудить)...

А моя любимая тётя Фанечка рассказывала о другой, возмущившей её истории, связанной с Тимуром и произошедшей в то же время. Негодование моей тётёй вызвали слова соседки, которая рассказывая во дворе о своей внучке, сообщила, что девочка подружилась с очень симпатичным и хорошо воспитанным мальчиком, добавив: «*Жаль только, что он чучмек, и зовут его Тимур!*». Услышав имя «чучмека», тётя обиделась за своего внучатого племянника...

По еврейским религиозным законам мои сыновья – евреи, и я рада, что они не скрывают этого. Мои внуки тоже знают о своих еврейских корнях и родственниках. Я рассказываю им всё, что знаю сама, о еврейских традициях, праздниках.

Пусть в качестве сувенира из Израиля, но у мальчиков есть кипы, они знают, что в Рош-а-шана нужно желать сладкого нового года и есть яблоки с мёдом, а в Хануку я дам им деньги...

С одинаковым интересом слушают внуки мои рассказы о грузинских и еврейских родственниках, с удовольствием едят и мацу, и сациви...

Младший внук, Володя, недавно был с родителями в Израиле, ему там очень понравилось. По собственной инициативе подсчитав, что в нём 1/8 еврейской крови, пожалел, «*что так мало*».

А вот родословная старшего внука, Соловьёва Георгия Тимуровича, наглядно демонстрирующая достижения советского интернационализма:

бабушка по линии мамы – Вологодская русская, дедушка – сын матери—азербайджанки и отца—узбека;

бабушка по линии отца (то бишь, я) – дочь матери-еврейки и отца-грузина, дедушка – сын матери-русской и отца-поляка.

Вот и разберись, кто по национальности наш Гошик.

Да и к чему это?! Главное – чтобы ребята росли здоровыми, чтобы стали порядочными людьми, чтобы были счастливы.

Кстати, Гоша (он же – Георгий, он же – Гоги, он же – Гога, он же – Гошик) недавно спросил меня: «*Бабушка, а почему все так не любят евреев?*».

Так что, как видите, национальный вопрос в нашем семействе не теряет актуальности.

То, чем я теперь живу

Глава третья

«Все мы родом из детства».
Антуан де Сент-Экзюпери

Не устаю восхищаться талантом. Великий Толстой не был психологом, но как точно определил он значение первых лет жизни: *«От пятилетнего ребёнка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрёл и сотой доли того».*

Что приобрела я? Что помню о своём раннем детстве, определившем во многом *«то, чем я теперь живу»*?

Разные люди называют разный возраст своих первых воспоминаний. Лев Толстой утверждал, что помнит, как ему мешали стягивающие тело пеленки; кто-то уверяет, что помнит свои ощущения при появлении на свет.

Моя память не воспроизводит столь ранние впечатления... Порой всплывают какие-то смутные, обрывочные картинки, в которых перемешаны рассказы родителей, родственников и собственные ощущения. Но то, что происходило после трёх лет, я помню очень хорошо.

Самое первое и яркое ощущение относится к возрасту, когда мне было чуть больше трёх. Как и все дети, я была великим манипулятором. Мы тогда жили на Сахалине, в южной его части, которая ещё недавно принадлежала японцам. Время было не спокойное в первые годы после войны, да и природа испытывала на прочность: мы пережили там и пожар, и наводнение. Родители повсюду таскали с собой меня и мамин ридикюль с документами. Часто, когда поздно вечером возвращались из гостей или с концерта, я, прекрасно понимая, что уже большая и должна идти своими ногами, делала кислую мину и произносила одну и ту же фразу: *«Что-то у меня животик разболелся»*... Я знала, что родители мне не верят, и знала точно, что папа понимает, чего я хочу. Папа подыгрывал мне, тут же брал на руки, целовал, что-то ласково приговаривал, а мама шла рядом, ворчала, что я бессовестная лгунья, и выговаривала папе: *«Ты ещё пожалеешь, что позволяешь ей вить из тебя верёвки!»*...

Но я уверена, папа никогда об этом не жалел.

Тогда же, путешествуя на папиных руках, я совершила своё первое «открытие», связанное с ночными прогулками – я обнаружила удивительную вещь: где бы мы ни шли, куда бы ни сворачивали, за мной повсюду следовала луна. Это было так приятно – возвращаться домой поздно вечером, мерно покачиваясь в папиных руках, обнимая его шею, вдыхая самый родной и приятный запах, и так лестно было видеть, как луна неотступно плывёт за мной по небу. Да, да, не за нами, а именно за мной, я была уверена в этом. Каждый раз, когда мы вечером оказывались в пути, я с некоторой тревогой разыскивала луну и с удовольствием убеждалась в том, что луна по-прежнему мне верна. Я испытывала жгучую радость, которой ни с кем не могла поделиться, потому что была убеждена, что, если я нарушу нашу с луной тайну, луна обидится и выберет себе кого-то другого... Несколько лет я пребывала в тщеславной уверенности особы,

«избранной луной»... Я была убеждена, что луна сопровождает именно меня, и что если кому-нибудь расскажу об этом, луна обидится и перестанет ходить за мной.

Это была моя первая тайна, которую я не доверила даже папе. Кстати, позднее мне довелось сделать немало подобных «открытий», да и тайн пришлось хранить немало, и не только своих...

Помню свои ощущения, когда мы приходили домой. Мама строго требовала: *«Нечего притворяться, раздевайся, умывайся и иди в свою кровать!»*. Но папа убеждал её, что я уснула, что не надо меня тормозить... Я испытывала такое удовольствие в эти минуты... Блаженство полудрёмы, сладкой неги, когда папа раздевал меня, сонную, целовал, ласково что-то шептал по-грузински, укладывал в постель...

Помню радостное пробуждение, когда всем существом ощущаешь жизнь – приятное тепло постели, приглушённые голоса взрослых, вкусные запахи, солнечный свет даже сквозь опущенные ещё веки...

Я – счастливица, мне от рождения дарована безусловная радость бытия.

С раннего детства знала, что красивая, потому что слышала об этом не только от родных, но и от незнакомых людей. С наивной детской верой связана анекдотичная история, которую я знаю со слов моей любимой тёти. После окончания войны все члены маминой семьи переехали из Узбекистана, куда они были эвакуированы, где я родилась, на Украину, в Бердичев. Я ходила в ясли, там работал пожилой детский врач, который, как рассказывала мамина сестра, питал ко мне самые нежные чувства. Оценив мою раннюю «взрослость», он не только называл меня не иначе как по имени и отчеству, но и просветил в отношении будущего. Выяснилось это, когда у нас были гости. Вызвав недоуменное смущение моих близких и рассмешив гостей, в ответ на вопрос одного из них *«Кем ты будешь, Людочка, когда вырастешь?»*, я без промедления заявила: *«Самой красивой женщиной в Советском Союзе»*.

Как и большинство малышей, я действительно была хорошенькая: пухленькая черноглазая чернобровая смугляночка с каштановыми кудрями. Конечно же, с возрастом я теряла беспрекословную веру в слова взрослых, но, уверена, что наивная детская самоуверенность в собственной неотразимости стала одним из важных камней в строительстве фундамента моей самооценки.

Мама не раз рассказывала, как «мучилась» со мной, потому что, если вдруг у меня руки оказывались грязными (упала, например), я настаивала на том, что их нужно срочно вымыть (мама демонстрировала, как я шла с недовольно-брезгливой физиономией, выставив перед собой растопыренные ладошки). Предложение стряхнуть грязь, вытереть платочком – меня не устраивало...

Я и сейчас очень брезглива, особенно относительно всего, что связано с едой. Когда вижу, как в транспорте кто-то грызёт ногти, меня физически тошнит...

В детстве меня называли «старый нос». И отнюдь не из-за формы или размеров носа, который только к трудному подростковому периоду достиг своего совершенства и позволяет безошибочно определить мою национальную принадлежность (меня одинаково легко принимают за свою и грузины, и евреи). Это прозвище мне досталось в связи с тем, что я с раннего детства вела себя слишком разумно, была не по-детски спокойна, говорила и рассуждала, «как взрослая». Мне было неуютно со сверстниками: мне были непонятны их капризы, неумение выговаривать слова, их игры, визги, возня в грязном песке... Я не играла в куклы, мне было неловко делать вид, будто они разговаривают, едят, спят, ходят. В лучшем случае, наблюдала, как играют другие дети. Увы, ещё достаточно долго мне было не просто общаться со сверстниками, но об этом, пожалуй, позже.

Играть я любила с папой. Однажды зимой мы с ним играли в футбол. Играли дома. Дом – маленькая японская фанза. Вместо мяча – резиновая калоша. Не помню, где были ворота, но в результате точного удара калоша вылетела в окно. И до самой весны, пока не пришли грузы с большой земли, наше окошко было закрыто фанерой.

Это было не единственное наше с папой хулиганство. Часто мы затевали не менее рискованные игры. В доме была плита, которую топили дровами. Сверху – металлическая крышка с круглыми отверстиями, они закрывались несколькими металлическими кольцами разного диаметра, что позволяло ставить на открытый огонь кастрюли и сковородки разного размера. Мне нравилось наблюдать, как ловко мама поддевала специальным металлическим крючком эти горячие кольца... Мы с папой любили огонь. Когда мамы не было дома, мы устраивали фейерверк: папа садился перед плитой, я забиралась к нему на колени, и мы бросали спички на раскалённую плиту; спички вспыхивали, шипели, подскакивали! Мы оба были в восторге и от потрясающего зрелища, и от того, что совершали запретное действие. Даже если мама не заставляла нас за этим пожароопасным занятием, ей сообщал о нём адский запах серы, который дьявольски долго не выветривался. Мама сердилась, возмущалась; мы с папой, признавая вину, становились лицом в угол и ждали, когда нам будет позволено раскаяться в содеянном до очередного нестерпимого желания огненного праздника.

Позднее, когда мы жили на Украине, а я была уже не единственной, а старшей (мне было пять, когда родилась сестра, и четырнадцать, когда появился брат), вода в ванной нагревалась с помощью дровяного титана. Мы с папой выбирали время, когда оставались дома вдвоём, (не так часто это случалось), и разжигали огонь. Летом для этого удовольствия достаточно было собрать под окнами пару вёдер сосновых шишек (гарнизон располагался в прекрасном сосновом лесу), зимой нужны были дрова. Но мы с папой больше всего любили жечь старые газеты, тетради, разные другие «лишние и ненужные» вещи. Мы усаживались рядом перед открытой дверцей, смотрели на огонь, молчали, и было так хорошо! Нам с папой и теперь доставалось от мамы, потому что мамины и наши представления о нужности вещей часто не совпадали. Как-то, помню, был почти скандал – за отсутствием достаточного количества горючего материала мы сожгли мамины кожаные босоножки, которые она, как оказалось, собиралась починить, а мы решили, что она выставила их, чтобы выбросить...

Когда у нас появилась возможность построить дом (сыновья начали зарабатывать деньги), моим главным требованием к проекту был камин, настоящий, не электрический.

Играть я не любила, но очень любила читать... Читать научилась так рано, что даже не помню, когда и как. Это произошло, когда мы жили на Сахалине. Папа с утра до ночи,

а нередко и ночами, пропадал на службе, мы с мамой проводили длинные дни вдвоём. Мама много читала и, чтобы я её не отвлекала, научила читать и меня (так она объясняла). Я довольно быстро освоила нехитрую науку, мне очень нравилось, как разные знакомые и незнакомые слова складываются из одних и тех же букв. Потом стало буквально преследовать желание узнать, понять, почему именно так, а не иначе называются разные предметы: почему стул называется «стул», стол – «стол», а не наоборот или как-то иначе, «окно», например... Мои вопросы выводили маму из терпения. Она часто вспоминала с раздражением (да я и сама об этом помню), как *«Она (то есть, я) буквально пыталась меня: „Почему стол называется стол, а не окно, не стул, не шкаф?“ Ответ „так люди назвали“, её, видите ли, не устраивал... она снова спрашивала: „Какие люди? когда? почему именно так, а не наоборот, не по-другому?“ Представляете? Ну, какому нормальному ребёнку это интересно?»*. Видимо, я долго и не однажды надоедала маме, потому что не раз, когда я была уже взрослая, когда я, по её мнению, «занудничала», мама, упрекая меня в упрямстве и в том, что я *«не от мира сего»*, часто напоминала мне о том *«кошмаре и мучениях»*, когда я её *«доводила этими вопросами до белого каления»*...

Короче, разочарованная мамиными ответами, я пыталась самостоятельно проникнуть в эту тайну. В связи с ограниченным наличием в те годы и в том месте детских книг, я читала газеты (которые доставлялись в гарнизон), мало что понимая, но расширяя запас слов и совершенствуя технику чтения (о чём я тогда не помышляла), и надеясь когда-нибудь найти там ответ на свой вопрос...

Тайна так и осталась для меня неразгаданной, как и для научного мира, выдвинувшего ряд теорий, ни одна из которых не находит надёжного подтверждения. Слова из Торы *«И образовал Господь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовет человек всякое живое существо, так и имя его. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым;...»* тоже, увы, не дают ответа на все возникающие по этому поводу вопросы.

В те же годы раннего детства, когда мы жили на Сахалине, пережила я и очень неприятное «чувственное» открытие. Детей в гарнизоне было мало, далеко не все офицерские жёны решались ехать «на край света», большинство предпочитало ждать мужей, оставаясь с детьми на материке. По соседству с нами жила семья, в которой была девочка лет 8 (мне было 4). По-видимому, только из-за отсутствия ровесниц девочка, (я не помню, как её звали) снисходила до общения со мной. Как правило, она приходила к нам. Вела себя эта девочка очень странно. Хорошо помню такую ситуацию: мы сидим в комнате за столом, рисуем; мама входит из кухни и ставит на стол тарелку свежеспечённых пирожков, предлагая нам попробовать. Девочка решительно отказывается, а когда мама выходит, быстро хватает с тарелки два пирожка и прячет их в карманы. На меня она не обращала внимания, считая, вероятно, что я слишком мала. Я чувствовала себя очень неловко, но молчала и маме ничего не рассказывала.

У меня был набор игрушечной посуды, который подарила бабушка Дина перед нашим отъездом с Украины – кукольные деревянные тарелочки и горшочки, расписанные яркими цветами и ягодами на блестящем чёрном фоне. Помню приятное ощущение прикосновения к лакированной поверхности, мне нравилось их гладить... Со временем моя посуда стала странным образом исчезать. Мама ругала меня, решив, что я выношу игрушки на улицу и там оставляю.

Как-то мы с мамой пошли в гости к этой девочке. Женщины занимались своими делами внизу (японские домики были маленькие, но двухэтажные, с крутой внутренней деревянной лестницей, с которой я, неуклюжая, в нашем доме несколько раз скатывалась кубарем), а мы

играли в комнате на втором этаже. Девочка решила рисовать. На правах старшей она, как всегда, командовала. Распорядилась, чтобы я достала цветные карандаши из ящика письменного стола (сама она сидела на полу с игрушками в противоположном углу комнаты). Я выдвинула ящик и увидела свои пропавшие красивые тарелочки.

Чувство, которое я испытала, можно назвать паническим ужасом, было ощущение, что я увидела что-то страшное, мерзкое, ужасное... Я задвинула ящик и, ни слова не говоря, помчалась вниз, к маме, требуя немедленно уйти. Мама была удивлена и напугана, потому что обычно я была очень спокойная, послушная... Не дожидаясь, когда мама закончит свои извинения и прощания, я убежала. Мама пыталась выяснить причину моего неприличного поведения, но видя, в каком я состоянии, не стала настаивать.

После этого «открытия» я ни за что не хотела встречаться с соседской девочкой. Отчаявшись получить объяснения, мама рассказала о моей «неприличной выходке» папе. Но и папе я не могла и не хотела ничего объяснять. Родители были вынуждены принять мои условия.

Только много позже я поняла, что мне тогда впервые в жизни было стыдно, очень стыдно! К тому времени со мной никто ещё не обсуждал проблему воровства. Но я почувствовала, не понимая толком, что стала свидетелем чего-то очень плохого, недопустимого, грязного... И долго ещё, вспоминая свои тарелочки в чужом столе, я переживала очень неприятные чувства.

Это стало моей второй в жизни тайной, но не приятно волнующей, как «дружба с луной», а неприятно-тягостной...

Казалось бы, навсегда забытое ощущение всплыло из глубин памяти через много лет, спровоцированное не воспоминанием, а ситуацией «здесь и сейчас». Моему Коле тогда едва исполнилось два года. Мы жили в деревне Буреги, Старорусского района, работали в участковой больнице. Наконец-то приехала врач-терапевт (полтора года до этого других врачей, кроме нас с мужем, в больнице на сто коек не было). У соседнего подъезда нашего четырёхквартирного дома, где разгружали вещи вновь прибывшего семейства (у коллеги тоже был маленький сынишка), собралась ребятня, привлечённая столь редким в деревне зрелищем. Мои мальчишки – среди прочих. Подошло время обеда. Мою младшему руки. Он зажал правую ладонь в кулак и с непонятным упорством отказывается разжать.

Я испугалась, потому что незадолго до этого то же самое проделал Тимур, который всего на два с половиной года старше. Тимка прятал от меня глубокую рану между мизинцем и безымянным пальцем, грязную, с запёкшейся кровью. Увидев мой испуг и невольные слёзы, Тимурик успокоил: *«Не плачь, мама, ничего страшного! Даже если бы я отрезал палец, – новый вырастет!»* – уверил он меня... (так хорошо «вижу» его мордашку при этом, слышу его голос) ...

А у Колюка на ладошке оказался малюсенький белый пластмассовый лебедь с красным клювом... Я видела, понимала, что мой двухлетний сын испытывает точно те же чувства, какие вырвались из моей памяти... Как плохо было нам обоим! Как я ему сочувствовала!.. Как можно мягче, (видела, чувствовала, что он и сам всё понимает), преодолевая собственную боль и жалость, заставила пойти и положить игрушку туда, где он её взял...

Помню, как страдала от того, что долго не могла произносить звук «р». Я уже давно и много читала, а эта ненавистная «р» мне никак не давалась... Я была очень недовольна собой. Прекрасно помню, как произнесла этот звук впервые. Всё случилось там же, на Сахалине. Была

зима, но ещё до Нового года, значит, мне было без малого пять... Папа был на службе, мама вышла во двор за дровами; я, продышав прозрачный кружочек на морозном стекле, наблюдала, как ловко мама рубила небольшие поленья на щепки. Целенаправленно, осмысленно, громко, пользуясь тем, что меня никто не слышит (в присутствии родителей мне было неловко демонстрировать своё неумение), стала произносить слова с этой непокорной буквой: *«руки, варежки, дрова, топор, сарай, двор, ворота, ворона, курица, мороз, рот, пар...»* И у меня наконец-то получилось!.. Как я была счастлива! С каким нетерпением ждала в тот день папу, чтобы продемонстрировать своё умение, свою «взрослость»!

Став взрослой и наблюдая за чужими, а позднее и за своими детьми, не раз убеждалась, какой восторг испытывает ребёнок, делающий первые шаги, научившийся самостоятельно есть, одеваться, кататься на велосипеде... И как важно и значимо, когда родители разделяют и помогают закрепить ситуацию успеха.

Я безмерно благодарна маме за то, что с раннего детства, поощряя мои попытки чему-то научиться (как правило, это относилось к моим не очень умелым рукам), мама неизменно повторяла: *«Не боги горшки обжигают!»*. И особенное отношение к пословицам и поговоркам у меня сложилось очень рано тоже благодаря маме.

Просматривала свои детские фотографии и с некоторым удивлением (казалось, что навсегда об этом забыла) вспомнила, как нежно я любила в 4—5 лет свой пёстренький полосатый трикотажный свитерок. Вероятно, он был куплен мне «на вырост», а, может, потому, что не было поменьше. Но мне удалось носить его несколько лет (так мне помнится). Прекрасно помню, когда на нём стали появляться дырочки, и мама хотела его выбросить, я каждый раз настаивала, чтобы она их зашивала-штопала. Помню, как искренне страдала, когда пришлось расстаться с любимой одежкой. Почему я была так к нему привязана?.. Я и сейчас надолго «привязываюсь» к некоторым предметам гардероба.

Первый новогодний праздник, который я хорошо помню, был тоже на Сахалине. Встречали год 1949. Папе – капитану медслужбы, полагался в то время ординарец. Ординарцем был Коля Кривенко, который после демобилизации, если я правильно помню разговоры родителей, играл в футбол на своей родине, Украине, по-моему, за Донецкий «Шахтёр». Колю я помню очень хорошо, потому что он чаще помогал не папе, а нам с мамой: колоть дрова, например, растапливать печку, иногда он оставался со мной за няню, когда маме нужно было куда-нибудь уйти. Родители долго не могли понять, почему я, когда у меня что-то не получалось, сердито говорила: *«Иди налево!»*. Всё прояснилось, когда Николай в сердцах сказал при маме: *«Едрит-воюналево!»*.

Так вот, Коля не только срубил к Новому Году красивую ёлку, но и сделал ещё один замечательный подарок. Когда утром 31 декабря я проснулась, в углу комнаты, которая не была, к счастью, заставлена мебелью, стояла благоухающая свежая пушистая ёлка, а вокруг неё – звери. Пара белых зайцев, рыжая лиса, коричневый медведь, серый волк, ёжик с розовым животиком, полосатый кот и чёрный пудель с красивыми глазами были вырезаны из фанеры, и ростом были не намного ниже меня. Звери держали лапы в стороны так, что, стоя полукругом у ёлки, образовали хоровод. Они были замечательные! А вместо игрушек ёлку украшали 100-граммовые плитки шоколада «Ванильный», целую коробку которого папе по заказу привезли с большой земли. Прекрасно помню, что обёртка была шоколадно-коричневого цвета, с белым ромбом посередине и коричневой надписью на нём: «Шоколад ванильный». Ещё на ёлке были

ватные «снежные» хлопья, бумажные снежинки, которые мы вырезали вместе с мамой накануне, и завернутые в шоколадную фольгу грецкие орехи.

Не могу вспомнить лучшего новогоднего сюрприза...

Одно воспоминание тянет за собой другое. Но то, о котором собираюсь рассказать, связано с чувством, далёким от любви и привязанности. Звери из фанеры вызвали восторг, а всякой живности я в детстве боялась, причём, не только собак и кошек, но даже на кур, я помню, смотрела с опаской. Конечно же, этому можно найти объяснение. Первопричиной могло стать то, что, со слов мамы, когда мне было года полтора, ещё там, в Катта-Кургане, маленькая соседская собачонка *«неудачно схватила тебя (то бишь, меня) за руку»*. О собачьей неудаче до сих пор напоминает шрам на моём правом запястье. А, может, дело ещё и в том, что в нашем доме никогда не было животных. Родители очень заботились о чистоте. Папа вообще был чрезмерно брезглив, особенно чувствителен к запахам (как и я, впрочем,); был убеждён в том, что единственная роль домашних животных – служить источником глистов и кожных заболеваний. Ну, и переезжали мы с места на место каждые год – полтора... От страха перед пернатыми я избавилась довольно легко и скоро, а вот что касается собак и кошек... Вспомнила тяжёлую для меня ситуацию стыда, которая теперь кажется просто смешной, а тогда, должна признаться, мне было по-настоящему страшно и стыдно за свой страх.

Было мне тогда уже 14, и случилось это в доме моего одноклассника, в которого я была почти влюблена, в день его рождения... Ощутили значимость момента? Так вот, сидим мы, человек десять девчонок и мальчишек за праздничным столом, нас угощает его замечательная бабушка (его родители-врачи – на работе). Бабушка у Вовки Канцлера была особенная. Помню, когда она сердилась на своего любимого внука, она говорила: *«Ах ты, остроганец ты этакой!»* и смотрела на внука с трудно скрываемым обожанием. Так же она называла и большого сибирского кота, который часто шкандичал, но взгляд на кота был по-настоящему недовольный. Продолжаю: сижу я за столом, и вдруг этот толстый кот молча, без предупреждения вспрыгивает из-под стола ко мне на колени. Я вскрикнула от неожиданности и ужаса, который, без сомнения, отразился на моём лице. Все дружно засмеялись. Кот, проигнорировав мою реакцию и предварительно потоптавшись, уютно устроился на моих коленях, явно не собираясь покидать их в ближайшее время. Одноклассники, конечно же, стали шутить, что кот совсем не случайно выбрал именно мои колени... Мне же было не до шуток и даже не до смущения по поводу их подтруниваний. Я сидела ни жива, ни мертва, – я испытывала страх, который остальным был не понятен, страх, которого я стыдилась, и который всеми силами старалась скрыть.

Коллегу по страху я встретила через пару лет в Ленинграде. У моей квартирной хозяйки был внучатый племянник, пятилетний Женька – очень серьёзный и обстоятельный парнишка. Как-то зимой, когда в его группе детского сада был карантин, мама привезла его к своей тёте. Я возвращалась с занятий и поднималась на наш последний пятый этаж, когда встретила Женьку, спускавшегося вниз. В чёрной длиннополой цигейковой шубе «на вырост» и в такой же шапке, завязанной под подбородком, утонувшем в большущем шарфе с тугим узлом сзади, в несгибаемых валенках с калошами, Женька спускался аккуратно, медленно, держась за прутья перил. *«Пойду воздухом подышу»*, – важно сообщил он мне тоном моей хозяйки Анны Николаевны.

Воздух был заперт внутри небольшого типично питерского двора-колодца, ворота в который в те годы закрывались на ночь, и тогда войти или выйти можно было только через двор

нищую. Женька говорил истинную правду – ничто другое, кроме как «подышать», учитывая размеры заасфальтированного двора и Женькину амуницию, было для него невозможно – ни побегать, ни нагнуться, ни даже повернуть голову...

Едва я успела раздеться и вымыть руки, раздался стук в наружную дверь (звонок Женька достать не мог, он поворачивался к двери спиной и стучал в неё ногой). Я, удивившись его прыти, открыла. Женька стоял на пороге запыхавшийся, испуганный и смущённый. «*Женечка, что случилось?*». «*Там во дворе кот гуляет*». «*Ну и что?*». «*Пускай сначала кот погуляет, а потом я*».

Как хорошо я его понимала!

Помню, мы переехали в деревню, дети были маленькие, мужу кто-то из сотрудников больницы подарил котёнка – серый пушистый комочек, довольно симпатичный. Володя часто рассказывал о том, что в их доме всегда жил кот, которого он очень любил, с которым спал... Я не разделяла его восторгов, но была в состоянии их понять. Решила не быть эгоисткой, не лишать мужа радости и позволила котёнку остаться, тем более, муж обещал все заботы о животном взять на себя. Но моя брезгливость одержала безоговорочную победу над добротой и толерантностью, когда через пару дней я застала лохматого красавчика на кухонном столе, вылизывающего детскую тарелочку. У Володи не нашлось аргументов «за», и ему пришлось вернуть «подарок»...

Лет через двадцать в нашем доме всё же поселился котёнок, подаренный мне по моей собственной «вине». Мы уже больше пятнадцати лет жили в Новгороде. Мальчишки-студенты учились в Питере. Володя был по-прежнему главным врачом, а я, поменяв несколько медицинских специальностей, реализовала наконец свою давнюю, долгие годы казавшуюся несбыточной, мечту о психотерапии и, о чём раньше даже мечтать не могла, получила возможность вести частную практику. В ту зиму особенно памятной стала супружеская пара, потерявшая единственного сына – 18-летний парень, несколько месяцев назад получивший права, не справился с управлением на обледеневшей дороге... Так сложились обстоятельства (режим и особенности их работы, отсутствие у меня собственного кабинета и пр.), что сеансы проводились вечерами у клиентов дома, благо они жили неподалёку. Единственной радостью для переживавших трагедию родителей стал их большущий кот «Дымок, Дымка». Кот действительно был очень красивый: крупный, пушистый, ровного дымчатого окраса, с зелёными глазами и роскошным хвостом. Видя их привязанность к питомцу, я искренне высказывала своё восхищение их любимцем и даже позволяла (в интересах терапии) этому тяжёлому нахалу дремать на моих коленях. По-видимому я не только успешно справилась с последствиями травмы своих клиентов (может, напишу позже об этом подробнее), но и настолько убедительно сыграла роль любительницы кошек, что через пару месяцев после окончания работы мне по телефону поступило неожиданное предложение: «*Людмила Николаевна, Вам так понравился наш Дымок, а у его мамы как раз сейчас родилось пятеро котят; мы договорились, что одного возьмём для Вас; Вы хотите кошечку или котика?*». Что было делать? Признаться, что я не люблю ни котов, ни кошечек, значит, признаться в притворстве, неискренности! По «тексту роли» выразила «благодарную радость», выяснила, что из пятерых котят три кота, из них один почему-то рыжий.

Теперь, когда мой любимый рыжий Бонифаций настойчиво пристаёт ко мне с поцелуями, мне самой не верится, что пригревшийся когда-то на моих коленях кот-остроганец мог вызвать такую бурю неприятных эмоций.

Сейчас только осознала, почему все описанные воспоминания связаны с Сахалином... Я совершенно не помню того, что было со мной до трёх-трёх с половиной лет, когда мы туда переехали, поэтому совершенно не помню свою бабушку Дину, мамину маму. По рассказам тётки Фани знаю, что бабушка очень любила меня – первую внучку. Что её огорчал и даже пугал наш отъезд на Сахалин. Могу её понять – какой-то грузин увозит её дочку и внучку на край света... Тётя говорила, что бабушка просила хотя бы меня оставить, очень боялась за меня...

Умерла бабушка Дина молодой, ей было всего 46 лет, 2 марта 1949 года, через месяц после моего пятилетнего юбилея. Хорошо помню этот день... Папа был на службе, пришёл японец (или китаец), принёс телеграмму. Мама, она была беременна, прочитала, вскрикнула, а потом завывала, спустившись по стенке на пол... Мне стало страшно, я видела и понимала, что маме очень плохо и больно. А мама, через какое-то время увидев меня, перепуганную, сердито закричала: *«Уйди отсюда!»*. Я послушно ушла, мне тоже было плохо и страшно... К этому возрасту я уже не была «почемучкой», не задавала вопросы по любому поводу. Самостоятельно искала ответы, создавала собственные теории, делала собственные выводы, конечно же, часто совершенно неверные... В тот раз – никакой версии; я с особенным нетерпением ждала папу. Узнала, что *«умерла бабушка»*. Я ещё не понимала в полной мере, что это значит, но чувствовала, что случилось что-то страшное, непоправимое. Мама плакала, папа был очень грустный. Мне было жалко нас всех...

Позднее, когда я спрашивала у тётки Фани о бабушке, она рассказывала, как бабушка любила меня, как страдала, как говорила, когда уже была серьёзно больна, что выздоровела бы, если бы я оказалась рядом... Моя дорогая тётя, вероятнее всего, хотела, чтобы я знала и помнила о бабушкиной любви, а у меня этот рассказ на какое-то время вызвал чувство вины, ответственности за бабушкину смерть...

Не хочется мне на такой грустной ноте завершать рассказ о том, что смогла воспроизвести моя память о первых пяти годах жизни. Лучше о том, что случилось в день моего рождения, когда мне исполнилось 5 лет, я очень хорошо это помню. Мама повезла меня к профессиональному фотографу, в фотоателье. В витрине были фотографии, это меня заинтересовало. Вошли. Фотограф усадил меня и стал настраивать фотоаппарат на треноге, несколько раз прятал голову под чёрной накидкой, снова появлялся, подходил, уходил... Мне всё не нравилось. Начну с того, что я не любила, когда мама привязывала мне на макушку белый бант, – на мой взгляд, я уже давно выросла из бантиков... Но в тот раз мама настояла. Ещё больше мне не нравился фотограф, потому что теми же руками, которыми он ставил стул, возился с фотоаппаратом, со своей чёрной тряпкой, он трогал моё лицо, поворачивая мою голову то в одну, то в другую сторону... И совсем я рассердилась, когда приторно-сладким голосом он принялся настаивать, чтобы я улыбнулась; мама ему поддакивала. Ни улыбаться, ни притворяться не хотелось. Поняв бесплодность своих усилий, фотограф обречённо ткнул в объектив со словами: *«Смотри вот сюда, сейчас птичка вылетит»*.

Ну, это было уже сверх моего терпения: *«Я не маленькая, не надо мне про птичку рассказывать. Я буду смотреть, куда покажете, но я хочу, чтобы моя фотография была в витрине»*... Оторопевший фотограф пообещал и выполнил своё обещание. А папа, спустя года полтора «тайно» воевавший вместе с китайцами против Южной Кореи, заказал в Гонконге цветной портрет с этой чёрно-белой фотографии.

Раньше как-то не задумывалась о причинах своей нелюбви к крупным городам, хотя давно пришла к выводу о том, что я – провинциалка. Неуютно чувствую себя в больших, даже очень красивых и любимых городах, таких как Барселона и Париж, Вена и Будапешт, Прага и Питер, Тбилиси, Киев, Иерусалим... Меня утомляет обилие людей и недостаток зелени, шум транспорта и необходимость тратить много времени на перемещение тела в пространстве... Поэтому во время путешествий я выбираю маленькие отели в зелёной зоне, вдали от городского шума. Вот сейчас вернулась из прекрасного, но шумного центра Будапешта в уютный симпатичный отель, расположенный в высоком районе Буды. Вокруг много зелени, благоухает цветущая сирень, вечерами тишину нарушают лишь соловьиные трели – красота!

Почему говорю об этом сейчас? Потому что корни моей провинциальности наверняка кроются там же, в раннем детстве, а, возможно, и в более глубоких подвалах генетической памяти. В течение более сотни лет многие поколения моих предков-евреев жили в соответствии с законом Российской империи «о постоянной черте еврейской оседлости» в маленьких местечках. И родилась я в небольшом узбекском городке, и жила потом в провинциальном Бердичеве, а дальше – и вовсе в военных гарнизонах...

У меня была возможность остаться после института в Ленинграде – предлагали аспирантуру на кафедре физиологии. Я отказалась, чем привела в недоумение и однокурсников, и преподавателей, хотя это был самый короткий путь к реализации прежней мечты о преподавании в институте. Среди других причин (хотела лечить детей, а не «изучать мышей и кроликов», хотела своих детей и свой дом, а не комнату в общежитии) главной было нежелание жить в Ленинграде...

Была очарована провинциально-уютной Старой Руссой, куда мы приехали по распределению, и которая стала для меня не только городом, в котором началась моя по-настоящему самостоятельная жизнь, но и родиной обоих моих сыновей.

Когда работала в Старой Руссе, очень важная дама – коллега из министерства, проверявшая в составе большой комиссии педиатрическую службу города (я – микропедиатр, была в единственном числе), после завершения проверки предлагала мне работу в Москве с предоставлением «на первое время» однокомнатной квартиры. Мне по молодости было даже немного неловко перед женщиной, старавшейся убедить меня перспективой возможностей, которые откроет передо мной столица; я отказалась, не раздумывая, потому что даже представление о возможной жизни в мегаполисе меня напрягает. Министерская дама, судя по её реакции, видимо, решила, что переоценила мои интеллектуальные способности. А я, анализируя закономерности своей провинциальности, рада, что осталась верна себе.

Мой любимый папа

Глава четвёртая

*«Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца».*

А. Грибоедов

Я – папина дочка. Все приятные воспоминания детства связаны с папой. Всю жизнь я жила, согретая уверенностью в его любви. И сейчас я люблю его, хотя прошло много лет, как папы не стало. Но для меня он не умер. Ведь я так хорошо помню его, так часто думаю о нём. Я помню всё-всё!

Хорошо помню папины руки с тонкими длинными пальцами, с аккуратно подстриженными ногтями. На тыльной стороне правой кисти у основания большого пальца была не очень яркая, малозаметная татуировка: красивая вязь грузинских инициалов. Я не люблю татуировки, тем более – надписи. Но папина выглядела, как изысканное украшение. Вены на кистях были рельефные, кожа смуглая, тонкая, мягкая. Я любила, сидя у папы на коленях, водить пальцем по узору татуировки, по каждой венке... (став взрослой, узнала, что папа сделал эту татуировку перед уходом на фронт для того, чтобы быть опознанным; он горько шутил, вспоминая свои юношеские иллюзорные представления о войне, а мне было не до смеха)...

Руки у папы всегда были безупречно чистые. Папа обладал какой-то врождённой чистотой, недоступной для грязи. Я не могу вспомнить случая, когда бы видела его в грязной или измятой одежде. Вот, например, как он ходил в лес за грибами. Грибы папа не ел, но очень любил собирать их. Мы тогда жили в Украинском Полесье, в гарнизоне. Прямо за КПП (контрольно-пропускной пункт) был соснячок, в котором водились маслята. Сборы начинались накануне. Папа доставал «гражданские» брюки, заново утюжил их так, чтобы на них были стрелки; проверял, не измялась ли в шкафу его «рабочая» куртка, «гражданская» рубашка... Затем наступала очередь обуви, и хотя папа никогда не оставлял её грязной, всё равно еще раз полировал её бархоткой. На рассвете папа надевал всю эту начищенную отутюженную амуницию, брал с собой корзинку, нож и отправлялся в лес. Выглядел он при этом как топ-модель.

Моя любимая тётя Фаня всякий раз удивлялась: *«Николай, ну объясни, летаешь ты, что ли? Ведь или мы все рядом, у нас обувь вся в грязи и чулки по колени сзади забрызганы, а твои брюки чистые и ботинки сияют, будто ты из дому не выходил!».*

Тётя Фаня не просто любила папу, не просто восхищалась им, она его боготворила. Когда папа приезжал в Бердичев, тётя не знала, куда его посадить, чем накормить... Тётя Фанечка не раз мне признавалась, когда я была уже взрослая, что готова молиться на моего папу. Теперь я особенно хорошо понимаю, почему.

Я уже говорила о том, что в 1950 году мы с мамой и сестрёнкой были вынуждены поехать в Бердичев, где жила мамина семья (овдовевший отец, младшая сестра с мужем и двумя детьми и младший брат-старшеклассник), потому что папа в составе авиационной дивизии, в которой он тогда служил, участвовал в войне между Северной и Южной Кореей. Южной Корее «помогали» США, а Северной – Китай и СССР. Незадолго до нашего приезда муж тёти Фани, Айзенберг Михаил Львович, оказался в числе «масс», подвергшихся репрессиям. Куда увёз его среди ночи «чёрный воронок», за что, надолго ли – было неизвестно.

Летом 1952 года вернулся папа. Его было трудно узнать – он был не худой, а тощий, и глаза у него стали совсем другие – очень-очень грустные... Родина наградила папу званием

подполковника и дополнительным отпуском. Узнав, что произошло с дядей Мишей, (не думаю, что мама могла написать ему об этом, потому что письма подвергались если не военной цензуре, то перлюстрации – точно), папа поехал в Киев. Не знаю, какие инстанции и каких начальников он там посещал; трудно сказать, что помогло: то, что он – боевой офицер, подполковник, прошедший две войны; или его фамилия, ведь Сталин был ещё у власти; то ли «звёзды так сошлись», но через какое-то достаточно короткое время дядя Миша вернулся. Вернулся покалеченный и физически и морально. Там, где он был, его пытали, били; били по ушам... Папа повёз дядю Мишу в Киев в военный госпиталь, где его оперировали (запомнила пугающие слова: «трепанация черепа»).

Ещё через какое-то время, когда дядя Миша вернулся из госпиталя, его не только реабилитировали, но и восстановили в партии. По случаю приезда дяди Миши и возвращённого ему партийного билета в доме собрались немногочисленные гости. Конечно, мужчины пили. Было поздно, когда произошла жуткая сцена, которую я вспоминаю с незабываемо-горьким чувством. Нас, детей отправили спать. Полина и Диана с Лёней уснули, а я, воспользовавшись тем, что взрослым не до меня, читала, лёжа в постели. В соседней комнате было шумно – взрослые разговаривали, шутили, смеялись. Вдруг характер шума резко изменился, испуганно вскрикнула мама, запричитала тётя Фаня... Я подошла к двери (комнаты были смежные) и открыла её.

Мой папа и Иван Алексеевич пытались умирить дядю Мишу, держа его за руки, а тётя Фаня со слезами и причитаниями не всегда успешно зажимала дяде Мише рот, чтобы соседи не услышали его слов. По-видимому, опьянение, боль от несправедливости наказания, от пережитых страданий и унижений, от лицемерия – всё это вызвало у дяди Миши страшную истерику. Он рыдал, пытался порвать партийный билет, выкрикивал ругательства. Мама плакала. Петька, которому разрешили сидеть за столом со взрослыми (ему было уже 17, он был под два метра ростом), стоял, вытаращив испуганно-растерянные глаза, не решаясь применить силу к дяде, и готовый, казалось, расплакаться...

Сцена была ужасная. Я закрыла дверь, было больно видеть родных и дорогих мне людей в таком состоянии.

Господи, так не хочется о грустном, но куда деться... Эта бесконечная ложь и лицемерие, издевательство над собственным народом – и физическое, и моральное, эта веками взращиваемая покорность... И тайны, тайны...

Снова «сажусь в машину времени» и перемещаюсь на 65 лет вперёд – в год 2015, когда я впервые, и, полагаю, единожды, оказалась в Соединённых Штатах. Посещая Вашингтон, естественно, была на Арлингтонском кладбище. Мемориал ветеранам Корейской войны произвёл на меня самое большое впечатление, поскольку косвенно касается и моего папы. Было больно за свою страну, за её ветеранов... Да, в США Корейская война тоже долгие годы называлась «Забытой войной», и мемориал был установлен только в 1995, но всё-таки установлен!.. И сегодня Трамп договорился о перемещении праха погибших в этой войне американцев на родину... А у нас через 65 лет после окончания Великой Отечественной руководители государства, владеющие многочисленными дворцами и замками в заповедных зонах, соревнующиеся числом украденных миллиардов и длиной роскошных яхт, без зазрения совести всё ещё обещают решить жилищные проблемы ветеранов... Стыдно и обидно до слёз...

Сколько слёз в те годы пролила моя мама! И немудрено: двое детей, для всех война закончилась, а её муж где-то на краю света, снова на войне; и писем нет месяцами, и ни узнать, ни спросить, ни рассказать... Маме тогда было всего 26 лет, а у неё начала прогрессировать гипертоническая болезнь.

В самую сильную жару папа, казалось, не потел, от него никогда не пахло потом. Но я очень любила и помню запах его кожи, его волос. Когда он возвращался домой, если я ещё не спала, я всегда встречала его в прихожей, помогала снять шинель, погружала свой большой нос в его фуражку или шапку и с наслаждением вдыхала непередаваемо родной запах, который для меня был приятнее самых изысканных духов.

Кстати, именно папа «виноват» в том, что я не пользуюсь духами. Помню, в день моего шестнадцатилетия кто-то из гостей подарил мне духи. Когда я через пару дней впервые воспользовалась ими, папа, целуя меня, недовольно поморщился:

«Тебе нравится этот запах?». «Не знаю, я решила попробовать». «Дело твоё, ты уже взрослая, но, по-моему, приятнее, когда от девушки пахнет здоровым чистым телом». Я без сожаления отдала духи подружке (мама тоже духами не пользовалась), и в моём доме они появляются лишь тогда, когда их дарит кто-нибудь из тех, кто плохо меня знает.

Папа был очень брезгливый. Ел только то, что готовила мама. А мама соблюдала все необходимые гигиенические нормы и правила. На кухню она входила, покрыв голову косынкой так, чтобы все волосы были прикрыты. Мне, когда я подросла, дозволялось выполнять только «чёрную работу»: почистить овощи, помыть посуду. Мыть посуду мне начали доверять лет с 12. Это было отвратительное занятие. Горячей воды не было. Воду нужно было согреть и налить в два тазика. В первом посуда мылась с пищевой содой или сухой горчицей, потом ополаскивалась во втором тазике с горячей водой и в завершение – холодной проточной водой из-под крана. Сама до безобразия брезгливая, я мыла посуду до скрипа, до блеска, установив собственный критерий чистоты: периодически отхлёбывала глоток проточной воды с тарелки, прошедшей завершающую обработку – это был метод самоконтроля. Поскольку мама сервировала стол по всем правилам, посуды было много, воду в тазах приходилось часто менять; процедура длилась долго, руки становились красные, как гусиные лапы... Поэтому посудомоечная машина в моём доме поселилась сразу, как только это замечательное изобретение появилось в продаже...

Насколько папа любил гостей, настолько же не любил ходить в гости из-за брезгливости: за чужим столом папа мог съесть только огурец, если он лежал на тарелке целый... Никаких салатов, холодцов, паштетов, винегретов он в гостях не ел. Возвращались «из гостей», и мама накрывала для папы стол, чтобы он мог «закусить». К счастью, папа никогда не пил много. А выпив, становился ещё более мягким, добрым и ласковым...

Ел папа с удовольствием ещё у тётки Фани, во-первых, потому что тётка Фаня готовила о-о-чень вкусно, а во-вторых, она была медицинской сестрой, и всегда демонстрировала папе гигиенические навыки...

Став женой и мамой, я готовилась к папиному приезду, как к генеральскому смотру, и была счастлива, что папа ел всё, что я подавала.

В нашей семье очень скрупулезно поддерживался ритуал застолья. Ели мы всегда в гостиной (я не говорю о послевоенных годах, когда на Сахалине мы полгода жили втроём в нише без окна). Если папа не был на полётах или в командировке, всегда ждали его прихода к обеду, к ужину. Мама накрывала стол неизменно белоснежной накрахмаленной скатертью, у нас все-

гда была красивая посуда. Мы разговаривали за столом, это было одно из самых приятных событий в течение дня (телевизора, к счастью, ещё не было).

Папа редко делал нам замечания (поведению за столом учила мама), иногда просто вскидывал бровь, если кто-то из нас, детей, проявлял неловкость. Но всё было как-то мягко, спокойно, без напряжения. Только однажды, помню, досталось моей сестричке. Ей было лет 8, наверное. Мы за столом говорили о чём-то смешном. Диана не сдержалась и расхохоталась с полным ртом, содержимое которого разлетелось во все стороны. Папа брезгливо поморщился и сказал, что придётся Диане обедать на кухне, пока не научится вести себя за столом. Правда, через пару дней Диана обедала вместе со всеми, но зато очень быстро научилась контролировать себя.

Рассказ о домашней кухне вызвал воспоминание об отношении папы к питанию солдат и офицеров. Однажды из-за папиной принципиальности я чуть не пострадала физически. Дело было в Скоморохах – военном гарнизоне. Там была средняя школа, а в соседних деревнях дети могли получить только обязательное тогда семилетнее образование. Поэтому в старших классах нашей школы кроме детей офицеров учились и дети вольнонаёмных, живущих в соседних деревнях – работниц столовой, прачечной, бани; отец Коли Хоменко, например, был художником в Доме офицеров, рисовал афиши к кинофильмам, разные плакаты; например: *«Не болтай у телефона! Болтун – находка для шпиона»*...

В нашем классе училась Галя Котюк, её мама работала поваром в солдатской столовой. Однажды перед началом занятий Галка, чьи интеллектуальные способности пребывали в очевидной дисгармонии с отменным здоровьем и великолепным физическим развитием, встретила меня в дверях класса со свирепым взглядом и сжатыми кулаками. Котючка, как её называли в классе, успела меня толкнуть, начала кричать что-то непонятное, и мне бы здорово досталось, если бы мальчишки силой не остановили её. Из грозных обвинений лучшей спортсменки выяснилось, что она пыталась наказать меня за то, что мой папа, снимая накануне пробу перед завтраком, забраковал котёл каши, которая по недосмотру Галкиной мамы подгорела. Нерадивая повариха была наказана, а я чуть не схлопотала от её любящей дочери.

Вторая история касается офицеров-лётчиков, её поведал наш сосед, командир эскадрильи, весьма колоритная личность. Дядя Лёва (он просил, чтобы я не называла его дядей – ему был 31 год) часто со своей женой, детей у них не было, бывал в нашем доме. Он был лётчик-ас, чего невозможно было заподозрить, судя по его внешности: он был похож на большого плюшевого медвежонка – толстый, неуклюжий, с круглыми тёмно-кариими глазами. Любил закусывать коньяк лимоном. Пил много. К середине застолья, обращаясь к другой нашей гостье – Клавье Мухиной, жене начальника штаба, которая ему явно симпатизировала, протягивал к ней правую руку со словами: *«Клавочка, коньяк!»* и левую: *«Клавочка, лимончик!»*. К завершению праздника сил на слова у Лёвы не хватало, он молча протягивал Клавье поочередно правую и левую руки, молча выпивал коньяк и жевал лимон. Это служило сигналом – с Лёвой прощались и он безропотно удалялся, сопровождаемый извинениями своей жены. Лёва был очень добрый, благодаря ему мне удалось не только побывать на закрытом военном аэродроме, но даже посидеть в кабине сверхзвукового истребителя...

Но я отвлеклась, вернусь к Лёвиному рассказу, правда с необходимыми пояснениями. Все лётчики обязаны были питаться в офицерской столовой. Не знаю, как сейчас, но в те годы

им полагался в ежедневном меню шоколад, который лётчики получали в плитках. Мало кто из них съедал его сам: холостяки припасали для барышень, женатые – для жён и детей.

Питание военнослужащих, как одна из важных составляющих здоровья личного состава, было, естественно, важным предметом врачебной заботы и контроля. Папа попытался изменить ситуацию, проводя с лётчиками беседы и объясняя, почему и зачем они получают столь ценный продукт. Ничего не получилось. Тогда, ко всеобщему неудовольствию лётчиков, членов их семей и падких на сладости барышень, папа распорядился подавать непонятливым упрямам необходимый для них шоколад иначе – они стали получать на десерт жидкий горячий шоколад.

Представляю, как обрадовались работники кухни. Говорю об этом с уверенностью, потому что через много лет, работая в больницах, убеждалась, насколько они (кухонные работники) предприимчивы. Заставляла в моём присутствии закладывать мясо в котёл по весу, а потом находила куски отваренного мяса, завёрнутого в целлофан, под тумбочками, за батареями, в самых неожиданных местах...

Папа был очень ответственный человек и отдавал работе (службе) всё своё время. Вспоминаю, когда мы жили в Скоморохах, он часто уходил из дома в 22:00 и приходил после 23:00; нет, не на ночные полёты, а накануне утренних. Дело в том, что каждый год в авиационный полк, где служил папа, прибывало пополнение – выпускники военных училищ. Как правило, это были холостяки, которые жили в гарнизонной гостинице-общежитии с неофициальным названием «Золотой Клоп» (в незапамятные времена клопы там, возможно, и были, но папа никогда бы не допустил подобного безобразия). Понятно, что получавшие приличные деньги, вырвавшиеся на волю после училища, молодые ребята пускались во все тяжкие. А папа отвечал за состояние их здоровья вообще и перед каждым вылетом в частности.

Накануне утренних полётов папа усаживался со свежими газетами в холле «Золотого Клопа» и оставался там до 23:00. Лётчика, которого к этому времени не было в постели, папа на следующий день не допускал к полётам. Как бы тот ни оправдывался: *«ночевал у родственников, у знакомых, вернулся сразу после того, как Вы ушли, товарищ подполковник»*, – папа был неумолим: он заботился о гуляках больше, чем они сами о себе...

Как-то в полк прибыл молодой лётчик, у которого оказались серьёзные проблемы, связанные с его широкоскулым лицом, не вмещавшемся в стандартный гермошлем (в «нашем» полку лётчики летали на сверхзвуковых самолётах в гермокостюмах, выглядели, как космонавты). Незадачливого обладателя скуластой физиономии (он был из Мордовии, если я правильно помню) было решено перевести в другой полк, на другие самолёты. Парень был в отчаянии, он так мечтал летать на новейших сверхзвуковых истребителях, это было так «круто», как сказали бы сейчас. Мордвин «впал в депрессию»... Папа добился разрешения, поехал с бедолагой на завод-изготовитель, кому-то объяснял, кого-то просил, кого-то убеждал, и в результате для парня изготовили индивидуальный шлем с учётом нестандартных размеров его монголоидного лица.

Ещё помню, в соседней части оказался на срочной службе солдат-грузин, которого незаконно призвали в армию, потому что он был единственным сыном одинокой бедной женщины

из какого-то высокогорного селения (видимо, выполняя план призыва, взяли вместо другого – «откупившегося»). Папа писал, возмущался, снова писал, ездил, но в результате мальчишку демобилизовали.

В связи с упоминанием холостяков вспомнила смешную историю, рассказанную её участником – замполитом полка. Военные лётчики пользовались в те годы особым вниманием представительниц слабого пола. Выйти замуж за лётчика было мечтой многих девушек из соседних сёл. Поскольку форма лётчиков и техников мало различалась, вторые часто выдавали себя за первых... Нужно напомнить и о том, что времена были такие, о которых короче и понятнее всего повествуют анекдоты: *«Чем жёны удерживают мужей? Немка – питанием, англичанка – воспитанием, французженка – грацией, а русская – парторганизацией»*. Вот почему замполиту нередко приходилось выслушивать жалобы обманутых девиц, надеявшихся с помощью всевластной партии заполучить обманщика в мужья. «Наш» партийный босс нашёл способ спасения для попавших в сети незадачливых юнцов. Василий Семёнович Шкиря любезно принимал девиц, внимательно выслушивал, поддакивал, выражал искреннее сочувствие: *«Как хорошо я Вас понимаю, как рад был бы Вам помочь. Но Вы поздно ко мне обратились, к сожалению. В следующий раз приходите ко мне заранее, я Вам всё подробно расскажу про вашего ухажёрра и подскажу, стоит ли ему доверять свою честь»*, – говорил он в заключение, ласково беря потерпевшую под локоток и решительно подводя к двери...

Могу говорить о папе бесконечно. О том, какой он был порядочный, как трепетно относился к маме, к вопросам супружеской верности, совсем не так, как подавляющее большинство грузинских мужчин. Однажды в гарнизоне, жизнь в котором проходит у всех на виду, разыгралась семейная драма в семье моего одноклассника, когда всем стало известно, что его отец (тоже военврач, но служивший в полку бомбардировщиков, а папа – в истребительном) завёл интрижку с медсестрой. Очень самолюбивый пятнадцатилетний мальчишка настолько тяжело переживал случившееся, что почти месяц не только в школу перестал ходить, но вообще не выходил из дома. Мой папа перестал подавать своему коллеге руку, о чём тоже стало известно окружающим, и за что некоторые мужчины папу осуждали...

Несмотря на то, что папа всю войну был на передовой, закончил службу полковником, он оставался абсолютно гражданским человеком. Когда я шла с ним рядом по гарнизону, и встречные офицеры брали под козырёк: *«Здравия желаю!»*, мой папа с улыбкой кивал и отвечал: *«Здравствуйте»*. Близким по чину протягивал руку, и только солдатам отдавал честь.

Помню как-то, мне было лет 16, поехали мы с папой в летний день в Житомир. Шедший навстречу молодой курсант вытянулся по Уставу, вскинул ладонь и ловко щёлкнул каблуками. Когда мы прошли мимо, папа довольно улыбался: *«Это он не мне, тебе честь отдавал!»*.

Папина любовь ко мне была известна всем, кто его знал. Как-то за столом в нашем доме один из гостей – папиных сослуживцев, когда заговорили о детях, сказал, что *«эталоном отцовской любви может служить любовь Николая Семёновича к Людмиле. Все знают, если*

нужно получить „добро“ у Лорда, разговор следует начинать с комплиментов его любимой дочке»...

Может, и была в этом доля истины, но папа вообще был очень добрым человеком. Вернувшись из Китая, он все красивые и дорогие мужские вещи отвёз своим братьям, несмотря на просьбы мамы оставить себе хотя бы кожаное пальто с подстёжкой из натурального меха. «В Грузии тепло, а ты всегда так мёрзнешь!» – уговаривала мама. «Зачем оно мне, я ведь всё равно хожу в форме, а Володе оно понравится»...

И для тёти Фани с дядей Мишей он привёз много подарков, и всегда помогал им. И когда моего кузена должны были после окончания фельдшерского училища призвать в армию (тётя Фаня с ума сходила), папа устроил так, что Лёнька служил в Днепропетровске (папа тогда уже был старшим врачом дивизии, штаб которой размещался там), в санчасти, под папиным присмотром; конечно же, часто бывал у моих родителей и ел свой любимый куриный бульон и крылышки... Папа убеждал Лёню поступать после демобилизации в Ленинградскую военно-медицинскую академию, но мой избалованный братик заявил, что ему и за эти годы надоели сапоги и форма; в действительности же, как оказалось, он не хотел учиться, а хотел жениться...

Папа не только безоговорочно и безусловно любил меня, он всегда очень за меня боялся и так оберегал от возможных травм, что в результате я не научилась ездить ни на велосипеде, ни на лыжах, ни на коньках. Помню, ко дню моего 9 года рождения мама приготовила мне сюрприз – коньки с ботинками (зимой 1953 года их можно было достать ценой значительных усилий, большинство ребят катались на коньках, привязанных к валенкам). Я была несказанно рада, и мама была довольна, что смогла сделать мне такой хороший подарок. Но папа был другого мнения: катание на коньках небезопасно, я, конечно же, буду падать, могу сломать руку или ногу, хотя это и не самое страшное. А что, если я упаду так, что разобью голову?! Коньки, такие сверкающе-прекрасные, улеглись в фанерный ящик и отправились по почте к моей двоюродной сестре Полине.

От роли изгоя среди одноклассников меня, как я понимаю, спасало лишь то, что я лучше всех училась и никогда не была зубрилой и задавакой. Мне нравилось объяснять то, что было непонятно другим. В младших классах я просто давала списывать, решала оба варианта контрольных. А в старших – оставалась после уроков или приходила на полчаса раньше, чтобы объяснить тем, кто этого хотел, домашнее задание.

От уроков физкультуры папа меня освободил, оправдывая своё решение объективной причиной – выраженное плоскостопие. Плоскостопие, действительно имело место быть, причём, в «предпоследней стадии», если учесть, что «последняя – ласты»... Лет в 40 пришлось даже решиться на операцию обеих стоп...

Так и не научилась я ни на велосипеде ездить, ни на коньках кататься, ни на лыжах...

Плавать я тоже не умела. И тоже из-за папы. Когда мы жили на Сахалине, папе приснился страшный сон, содержание которого я узнала, лишь став взрослой и научившись плавать. Папе приснилось, будто я утонула. Он будто бы возвращается со службы и видит, как его ординарец несёт меня, бездыханную, и шевелятся на ветру лишь мои длинные кудрявые волосы. Страшный сон заставлял моего папу бледнеть даже тогда, когда я в Грузии, в деревне у тёти Ксении, хотела заглянуть в глубокий колодец. Из-за папиного страха родители отказались от путёвки в Артек, которой меня наградили за отличную учёбу и победы в разных олимпиадах. Как я страдала, когда мы ходили с одноклассниками на речку, которая протекала

за проволокой нашего гарнизона, и все, кроме меня, плавали, ныряли, дурачились в воде; как я им завидовала!

Да что плаванье! Я не умела играть в «классики», прыгать через скакалку, не могла поймать мяч. Я стыдилась этого и потому лет до 12—13 единственными моими друзьями были книги.

Моя неуклюжесть всегда тяготила меня. И вот в то время, как мои одноклассницы, давно забыв про прыгалки, сосредоточили все свои мысли и чувства на нарядах и мальчиках, я тайком брала скакалку, которой виртуозно владела моя младшая сестра, уходила туда, где никто не мог меня видеть, и училась перепрыгивать через непослушную верёвку...

Очень хорошо помню это страстное желание доказать себе самой, что я могу. Нередко и сейчас ловлю себя на этом...

В институте меня определили в специальную физкультурную группу, но поскольку организовать такую не представлялось возможным, и она существовала только в отчётах, мне ставили «зачёт» за присутствие на общих занятиях. Зимой нас вывозили на лыжную базу в Шувалово. Нужно было бегать на лыжах, укладываясь в какие-то нормативы. Я объяснила преподавателю, что не умею даже стоять на лыжах, тем более бегать. Он подозрительно посмотрел на меня: «*Ваша фамилия?*». Я ответила. «*Тогда понятно! Где же Вам было научиться!*». Меня в очередной раз выручила моя фамилия, не стану же я ему объяснять, что жила не в Грузии, да и в Грузии есть где на лыжах покататься...

Я исправно посещала все занятия, выполняя обязанности «секретаря»: заполняла протоколы, щёлкала секундомером, подбадривала бегунов, за что и получала «зачёт».

Но однажды мне всё-таки пришлось стать на лыжи. Я тогда работала заместителем директора медицинского училища. Дважды в год, согласно учебному плану, кафедра физвоспитания проводила «День здоровья». В июне все учащиеся и преподаватели грузились на баржу и отплывали на живописный берег Волхова. Там разбивали палаточный лагерь, проводили забавные соревнования, весёлые конкурсы, загорали, купались, короче – активно и интересно отдыхали. Я к тому времени уже плавала и с удовольствием проводила этот день с коллегами.

Зимой выезжали за город, на базу отдыха, и все перемещения и соревнования были так или иначе связаны с лыжами. Чтобы избежать позора, я обычно находила себе «неотложную работу» в училище. Но случилось как-то, что зимний день здоровья совпал с 55-летием одного из наших преподавателей, который решил отметить свой юбилей с коллегами на базе, на следующий день после обязательной программы. Отвертеться было невозможно. В первый день пребывания я с демонстративным усердием занялась оформлением поздравительного адреса, шуточной стенгазеты и таким образом избежала участия в зимних соревнованиях. Вечером учащихся в сопровождении преподавателей из числа молодых мам отправили в город, а остальные, не столь зависимые от жён-мужей-детей, остались на базе.

Учитывая краткость зимних дней, было решено начать празднование юбилея как можно раньше и устроить пикник на лесной поляне – предполагалось, что это будет необычно, романтично и очень красиво. Оказалось, что попасть в это сказочное место можно только на лыжах. Пришлось признаться, что я вряд ли смогу составить компанию лыжникам-романтикам. Мои слова никто не принял всерьёз. По лицу нашего физкультурника Гурия Павловича, которому я попыталась доходчиво объяснить свою проблему, было видно, что он скептически воспринял

мои откровения. Снисходительно утешил: *«Людмила Николаевна, лыжи – не коньки, не большая наука, не гонки ведь! Я пойду замыкающим, Вы – передо мной, всё будет в порядке»*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.